

Звериный быт. Фёдор Сологуб [sologubfyodor.ru](http://sologubfyodor.ru)  
Спасибо, что скачали книгу в бесплатной электронной библиотеке  
<http://sologubfyodor.ru/> Приятного чтения!

Звериный быт. Фёдор Сологуб

I

Подобно тому, как в природе кое-где встречаются места безнадежно унылые, как иногда восходят на земных просторах растения безуханные, не радующие глаз, – так и среди людских существовании бывают такие, которые как бы заранее обречены кем-то недобрый и враждебным человеку на тоску и на печаль бытия. Будет ли виною тому какой-нибудь телесный недостаток, иногда совершенно незаметный для света, да зачастую забываемый и самим обладателем этого недостатка, плохое зрение, слабые легкие, маленькая неправильность в строении какого-нибудь органа, или что-нибудь иное, – или слишком нежная, слишком восприимчивая ко всем впечатлениям душа с самого начала своего сознательного бытия поражена была почти смертельно какими-нибудь безобразными, грубыми выходками жизни, – как бы то ни было, вся жизнь таких людей является сплошною цепью томлений, иногда с трудом скрываемых.

Кто из людей, знающих свет, не встречал таких людей, и кто не удивлялся их странной, капризной неуравновешенности!

Такою обреченною всегда томиться душою обладал некий петербуржец, Алексей Григорьевич Курганов. Один из многих.

Жизнь его с внешней стороны складывалась очень удачно. Раннее детство его протекало на лоне природы, в прекрасном, благоустроенном имении его родителей, расположенном в живописной местности средней России. Первые впечатления бытия были ему радостны, леса, поля и реки раскрывали перед ним много интересного, и люди вокруг были очень занятые. Воспитывали его тщательно, даже не слишком уж дурно, хотя и сообразно с неподвижными традициями хорошего дворянского рода.

Учился Алексей Григорьевич хорошо, нигде в классах не засиживался. В деньгах он никогда особенно не нуждался, – родители давали ему всегда ровно столько денег, сколько ему было нужно. Потом они умерли как-то очень вовремя, не слишком рано, но и не слишком поздно, и оставили ему приличные средства.

Когда Алексей Григорьевич сделался самостоятельным, его хорошие связи и знакомства всегда помогали ему очень недурно устраиваться. Он служил на видных, но совершенно спокойных местах, дававших ему порядочное жалованье и немало досуга.

Казенная служба скоро перестала нравиться Алексею Григорьевичу, – да ему и ничто не нравилось долго, – и тогда он некоторое время служил по выборам. Потом он устроился очень хорошо в правлении одного видного и крупного предприятия. Здесь он получал большое жалованье, играл удачно, хотя и осторожно, на бирже и выигрывал на скачках и на бегах, – помогали и счастье, и холодный расчет.

Когда Алексею Григорьевичу минуло двадцать восемь лет, он женился по любви на дочери видного земского деятеля, Шурочке Нерадовой. Шурочка была очаровательна и принесла ему прекрасное приданое. В Шурочкином нежном и задумчивом лице было что-то, что напоминало лучшие портреты Генсборо. Шурочка очень мило пела, недурно играла на рояли, любила читать стихи новых поэтов, особенно французских, и обладала изысканным, тонким вкусом. Туалеты Шурочкины были превосходны, и она ухитрялась тратить на них не слишком много, чем немало гордилась. Со своею милою Шурочкою Алексей Григорьевич чувствовал себя на вершине блаженства, а в обществе был горд женою. Только порою грустные Шурочкины глаза, остановившись на нем с неизъяснимым выражением, наводили на него смутный страх, и он старался разогнать его усиленною веселостью. А поездками в те места, где люди хотят веселиться, он пытался заставить Шурочку улыбаться и смеяться, как улыбаются и смеются другие веселящиеся дамы. И Шурочка улыбалась, – ей было весело.

Через два года Шурочка родила Алексею Григорьевичу сына, веселого, здорового мальчика. Она сама выкормила его. Когда он стал подрастать, было заметно, что он больше похож на мать, чем на отца.

Вот, все внешние признаки благополучия были налицо. Вся жизнь Алексея

Звериный быт. Фёдор Сологуб sologubfyodor.ru  
Григорьевича, казалось, идет легко и приятно, как сон в летний полдень. И все же...

## II

Еще в детстве как-то болезненно и памятно чувствовались мелкие обиды, которые судьба не устает причинять даже и тем, к кому она, по-видимому, так благосклонна. Всякая несправедливость и неправда больно поражали впечатлительного мальчика. Его родители были не совсем довольны этой чрезмерной и часто неудобной чуткостью. Но они надеялись, что с годами это пройдет и что их сын будет как все. Порода и воспитание должны же сказаться.

Тогда еще он не знал, а потом, узнавши, не мог помириться с тем, что несправедливость и неправда очень удобны для людей, а справедливость и правду надобно еще создавать, – нет их в земной природе. Горько было ему узнать, что не могут люди, что ложью держится их жизнь, а правда разрушает ее.

Слишком рано пришлось Алексею Григорьевичу, – и слишком часто, – жалеть людей или презирать их, слишком "часто, так что для любви к ним уже и немного осталось сил в его сердце.

С казенной службы ушел Алексей Григорьевич потому, что его заставили сделать что-то, совсем не согласное с законом, но очень выгодное для влиятельного лица.

Знакомые дивились щепетильности Алексея Григорьевича. Говорили ему:

– Зачем вы это делаете? Для чего? Вам-то что за дело? Ведь вы – только исполнитель. Отвечает за это ваш начальник. И другие говорили:

– Все равно, вы ровно ничего этим не достигнете. Не вы, так другой это сделает. Вы только себе карьеру испортите.

Алексей Григорьевич молча улыбнулся. Он уже тогда знал, что спорить с людьми бесполезно. Но и с ним спорить было бесполезно также. Для себя самого он навсегда решил не делать лишних уступок злу и безобразию грубой жизни.

Служба по выборам сначала понравилась Алексею Григорьевичу очень. Ему казалось, что здесь можно многое сделать для народа, для приближения народной жизни к европейским нормам благополучия и культурности.

Скоро Алексей Григорьевич во всем этом разочаровался навсегда. Он точно с неба упал, когда познакомился с теми махинациями и интригами, которые беззастенчиво практиковались здесь. И отсюда он ушел.

Служба в коммерческом деле, откровенно преследующем цели личного обогащения, оказывалась пока самым чистым делом. Пока, конечно. Скоро Алексей Григорьевич разочаруется и в этом деле и покинет и эту службу.

## III

Однажды Алексей Григорьевич сидел у себя в кабинете за какой-то работой. Он считал эту работу спешной, хотя никто особенно не был озабочен ее скорым окончанием.

Вдруг Алексей Григорьевич услышал из гостиной легкий кашель. Он удивился.

"Кто же это?", – подумал он.

Он знал, что никого чужого в доме нет и что Шурочка одна.

Кашель повторился. Алексей Григорьевич обеспокоился. Он поспешно вышел в гостиную. Так и есть, – кашляла Шурочка.

Алексей Григорьевич, подходя к жене и с тревогою глядя на нее, спрашивал:

– Шурочка, ты простудилась? Где ты простудилась?

Шурочка спокойно смотрела на Алексея Григорьевича. Она закрывала рот тонким

Звериный быт. Фёдор Сологуб sologubfyodor.ru

маленьким платком, от которого нежно и слабо пахло ее любимыми духами, кигризом. В ее глазах было какое-то удивительное выражение, которого еще никогда не видел в них Алексей Григорьевич. То спокойствие, которое пугает прежде, чем поймешь причину своего испуга. Алексей Григорьевич сел рядом с Шурочкой. Он ласково вынул из ее рук платок. По самой середине маленькой батистовой тряпочки краснелось крохотное пятнышко.

Алексей Григорьевич растерянно переводил глаза с красненького пятнышка среди платка на спокойное, только чуть-чуть побледневшее Шурочкино лицо. Он не знал, что сказать. Мысли его были спутанные и обрывочные.

Было ясно в комнате и тихо, и лампы горели по-зимнему, и камин тихонько трещал, бросая на ковер красноватый свет. В соседней комнате, в столовой, легонько позвякивали чайные ложки в руках расторопной горничной Даши.

Шурочка заговорила негромко:

- Алексей, но разве же ты не знал, что я скоро умру? Алексей Григорьевич, чувствуя внезапный жар во всем теле, воскликнул:

- Шурочка, бог с тобою! Разве можно говорить такие слова! Ты должна жить долго, долго. Тебе надобно серьезно полечиться, - и все это пройдет.

Шурочка покачала головой. Глаза ее были такие большие, такие печальные, а лицо у нее было спокойное. В эту минуту она казалась слишком красивой, словно уже неживая, словно она была только мечтой вдохновенного художника, только вечным созданием совершенного и мудрого искусства, вознесенным над жизнью.

Но кто же этот художник, создающий, чтобы разрушить?

Шурочка спокойно сказала:

- Нет, я с детства чувствовала, что мне долго не прожить. Я никогда не могла так играть и так много бегать, как мои подруги. Даже пение меня всегда утомляло. У меня всегда была слабая грудь.

И, помолчав немного, Шурочка продолжала:

- Я - нехорошая. Мне бы не следовало выходить за тебя. Если я рано умру, я знаю, это будет для тебя таким большим горем. Но мне так хотелось счастья! И с тобою все эти годы я была так счастлива!

Она прижалась к плечу Алексея Григорьевича. Такая счастливая была на ее нежных губах улыбка, что Алексей Григорьевич подумал

"Ничего нет серьезного, - одно воображение. Все пройдет, только полечить Шурочку надобно хорошенько. Поправится Шурочка, и опять все будет хорошо".

Но что-то против его воли настойчиво говорило ему, что Шурочка не поправится, что Шурочка умрет скоро и что дом его будет пуст.

IV

Алексей Григорьевич принялся усердно лечить Шурочку. Врачи утешали его. Они брали гонорар и говорили беззаботно:

- Ничего нет опасного. Самое обычное явление. Пока пропишу микстурку, а самое главное - климатическое лечение. И больше ничего. Будьте спокойны. Волноваться нет ни малейшей причины.

Один врач, другой, третий, и еще, и еще, и здесь, и там, и в ином месте, - много перевидали врачей. И Алексей Григорьевич уже не мог поверить врачам. Да они об этом и не заботились. Лечение указано согласно науке, чего же больше!

А Шурочка была совершенно спокойна и даже весела. Заботы о ней Алексея Григорьевича, видимо, доставляли ей удовольствие, и она смотрела на мужа благодарными глазами. Ей нравилось лежать на широких террасах элегантных санаториев, дышать редким горным воздухом, смотреть на снеговые вершины

Звериный быт. Фёдор Сологуб sologubfyodor.ru  
невозмутимо спокойных гор, слушать легкий плеск горного озера, похожий на лепечущий разговор каких-то мечтательных, очаровательных нежитей.

Шурочка часто говорила:

– Я – счастливая. Разве этого мало? Разве же надобно, чтобы счастье человеческое продолжалось долго, долго, пока не надоест? Конечно, нет. Я счастливая, и больше мне ничего и не надобно.

Когда Алексей Григорьевич слушал эти слова, ему хотелось плакать, – от любви, от нежности, от жалости к Шурочке, к себе, ко всем умирающим, ко всем переживающим смерть близких сердцу.

V

Климатическое лечение не помогло. Шурочка приметно с каждым днем угасала.

Был ясный день. Снежные горы белели вдаль, похожие на красивую сказку, – безоблачное, синело небо, – легкий плеск озера был слышен в долине, плеск ласковый и веселый, – от зеленеющих молодо и весело деревьев ложились темные, отрадные тени, – птицы пронеслись высоко, высоко, легкие, свободные. Так все было спокойно и невозмутимо, как может быть только в мирной ограде земного рая или разве еще только в стране бережливых, аккуратных фермеров и рантьееров, так же уверенных в прочности своего благополучия, как уверены небесные ангелы в бесконечной невозмутимости их блаженства.

Шурочка сидела в саду. Тихая задумчивость баюкала ее. Она перебирала в памяти своей те радости, из которых составлена была ее жизнь. Вспоминала ясное милое детство, – пору вешних мечтаний, – время сладкой влюбленности, жизнь с нежно любимым мужем, – рождение сына. Все было хорошо, все радовало ее.

Только дышать было трудно. И совсем не было сил. Пройдет Шурочка несколько шагов, – и уже устала.

И вот скоро, стало быть, конец? Как же так?

Всю жизнь Шурочка думала, что умрет рано, и не боялась смерти ничуть. Даже немножко кокетничала сама с собой тем, что умрет молодая. Но когда стало близким то, чего она ожидала всегда, стала дивить ее эта готовящаяся таинственная перемена, потом печалить, и наконец уже ей стало страшно. Обидно было думать, что ее тело, привыкшее к нежным удобствам, к изысканным нарядам, зарюет в черную яму.

Алексей Григорьевич подошел к Шурочке. Она сказала:

– Я умираю.

Ее глаза были широко открыты и неподвижно глядели на Алексея Григорьевича. Было в них выражение человека, который смотрит на то неведомое, что он уже перестал бояться, но от чего уже никогда не отведет взора.

– Полно, Шурочка, мы еще поживем, – сказал Алексей Григорьевич, пытаясь легким тоном этих слов успокоить ее. Шурочка слегка нахмурила тонкие брови. Сказала:

– Как же я могу жить, если у меня легкие разваливаются? И заплакала тихо.

Алексей Григорьевич, бледный и растерянный, стоял перед нею и не знал, что сказать.

VI

Потянулись для Алексея Григорьевича дни тупого отчаяния. Обострились эти ощущения, так памятные еще из детства, – тоска навстречу новому дню, так часто омрачавшая его утра, – и радостное облегчение, когда приближались ночь и сон, милое подобие утешительной смерти.

Ожидание Шурочкиной смерти претворялось иногда в страстное желание, чтобы смерть эта пришла скорее. Так было тяжело ждать, и так томилась бедная Шурочка. И так

Звериный быт. Фёдор Сологуб sologubfyodor.ru

как Алексей Григорьевич любил правду человеческого чувства и ненавидел людские притворства, то и себя он не упрекал за это жестокое желание. Даже, может быть, если бы он с Шурочкою был один в пустыне, он бы сам убил ее, чтобы сделать смерть ее радостной и свободной. Перед смертью Шурочка улыбнулась бы ему кротко и посмотрела бы на него благодарными глазами.

Но люди злы: они убивают только тогда, когда ненавидят.

И вот настал день, – Шурочка умерла.

Хлопоты с перевозом тела на родину развлекли Алексея Григорьевича. Он не рыдал над милым прахом, как рыдают другие. Его близкие и родные не опасались за то, что он в порыве горя лишит себя жизни. Он был спокоен. Посторонним казалось, что он даже слишком спокоен.

Шурочкина смерть осталась в его сердце навсегда, – горем не возрастающим и забываемым. Как бы частью его души, неизменной атмосферой его бытия. Через много лет в душе его повторялись все те же тихие Шурочкины слова:

– Я умираю.

И душа его трепетала от боли, которой не видел никто.

## VII

Прошло несколько лет. Алексею Григорьевичу было сорок два года и его Грише – двенадцать лет. Алексей Григорьевич был директором правления в одном крупном предприятии. Но уже эта деятельность утомила и разочаровала его, и он думал все чаще о том, чтобы оставить ее. И все чаще приходило к нему желание переменить жизнь. Грустные Шурочкины взоры говорили ему о тоске и о тщете этой скучной жизни в городе. Все темнее, все томительнее волновала его женщина города, это странное существо, созданное современным Содомом и стремящееся стать подобием парижанки, по-видимому, пустой, ничтожной и лживой, но в глубине своей непомерно искренней и подлинной, а потому всемирной, как чрезмерно искренним и потому всемирным становится все, исходящее из милого и страшного Парижа. И так колебался он между двумя влияниями, – жены отошедшей, тихой, зовущей к успокоению, – и жены чаемой, зовущей к жизни шумной, торопливой, широкой.

Но жизнь в городе становилась ненавистна ему, потому что все яснее представлялось, что в городе наших дней, великолепном Содоме, возрождается древний зверь и хочет властвовать. Все то жестокое, что свершалось в стране, шло отсюда. А в стране нашей в то время свершалось много жестокого.

Если было счастье в жизни Алексея Григорьевича, то оно было только в жизни его сына, в заботах о нем каждый день, и в одной великой заботе о том, чтобы Гриша был лучше своих предков, чтобы он жил для достойной жизни, свободный, чистый, смелый. Когда летом в деревне смотрел Алексей Григорьевич на обласканное ярким светом среди песков и трав, стремительное, сильное Гришине тело, – когда в городской квартире слышал он на паркетах комнат быстрый бег босых Гришиных ног, – то ему казалось, что нет большего счастья, как то, чтобы стать двенадцатилетним не боящимся и не стыдящимся отроком.

## VIII

Была середина зимы. День праздничный, ясный, морозный смотрел в широкие и высокие окна кабинета Алексея Григорьевича. Белая снежная пелена зимней мостовой делала красивой эту тихую городскую улицу с рядом старавшихся быть пышными и богатыми домов, где жили в лицевых квартирах люди, тратящие много, а в квартирах во дворе, тесных, темных, неудобных, ютились те странные люди, которым нравилось сознание, что и они живут на аристократической улице.

Алексей Григорьевич был дома один. Он только что кончил завтрак. Никуда не собирался, никого к себе не ждал. Сидел в своем кабинете, удобно прижавшись к углу дивана, подобрав под себя ноги в легких лакированных ботинках. Внимательно читал новую книгу о многообразии религиозного опыта. Раздался тихий стук в дверь.

– Войдите! – сказал Алексей Григорьевич, с некоторой досадой отрываясь от книги.

Не то чтобы книга очень интересовала его, – но ему сейчас не хотелось видеть людей, говорить с ними, – тягостное утомление жизнью в этом холодном, темном городе владело им.

Бесшумно открылась дверь. Колыхнув складки тяжелой темно-синей портьеры, гармонировавшей своим спокойным цветом с синими стенами кабинета, вошла горничная Наташа, молодая быстроглазая девушка. Тихо по темно-синему сукну, затянушему пол кабинета, она неторопливо подошла к дивану, где сидел Алексей Григорьевич, подала ему карточку и очень тихо сказала:

– Просят, чтобы вы их приняли. Говорят, что они по очень важному делу и что им необходимо переговорить с вами сегодня же.

Алексей Григорьевич опустил глаза на карточку и на ней прочел совершенно незнакомое ему имя. В это время Наташа быстро глянула в зеркало над топившимся камином, поправила быстрым движением красивых, белых, открытых до локтя рук свою слишком сложную, как у барышни, прическу с вложенным в нее бледно-розовым цветком и, опуская руки, тесно прижала их к бокам, так что ясно и отчетливо обрисовалась ее высокая, слишком пышно развившаяся грудь молодой, здоровой девушки.

Алексей Григорьевич заметил все эти Наташины маневры и сердито поморщился.

"Положительно, следует отказать ей", – подумал он, уже не в первый раз за эту зиму. Алексею Григорьевичу очень не нравилось, что Наташа, такая скромная в первые два годы службы у него, теперь очевидно кокетничает с ним. Она смотрит на него иногда какими-то странными глазами. Старается подойти к нему насколько можно поближе. Ночью выискивает предлоги, чтобы встать с постели, и, словно невзначай, встречается с ним неодетая.

Да, надобно ее рассчитать. Но за что? Она – такая услужливая. Все делает она исправно. Мебель и вещи Алексея Григорьевича держит в порядке. Не за что отказать.

Алексей Григорьевич быстро окинул Наташу сердитыми глазами. Она покраснела и чуть-чуть усмехнулась.

– Наташа, – строго сказал Алексей Григорьевич, – для чего вы вдели этот глупый цветок в прическу? Выньте и вперед не смейте являться ко мне с цветами в волосах.

Наташа сказала покорно:

– Слушаю, барин.

И вынула цветок из волос.

– И нельзя ли делать прическу попроще? – продолжал Алексей Григорьевич.

Наташа отвечала так же покорно:

– Слушаю, барин.

Она стояла перед ним прямая, почтительная, скромно опустив руки, чуть-чуть, едва заметно, усмехаясь, – так легка была усмешка, что нельзя было за нее сделать замечание. И у Наташи был такой вид, точно она понимает, что все это, и о цветке, и о прическе, только придирки, капризы скучающего барина, но что она и капризы его сносит покорно. И уже в самой этой сознательной и рассчитанной покорности было много досадного.

Алексей Григорьевич опять опустил глаза на карточку. Там типографским косым шрифтом было напечатано:

Илья Никанорович Кундик-Разноходский.

Комиссионер по наведению справок.

Звериный быт. Фёдор Сологуб sologubfyodor.ru  
Селивановская, 18, кв. 73.

Алексей Григорьевич тщательно напрягал память, – положительно, он не помнил этого господина. Собрать о ком-нибудь или о чем-нибудь справки через комиссионеров ему никогда не приходилось, и теперь он не нуждался. Принимать совершенно незнакомых людей он не любил. Он знал по долгому опыту, что эти посещения всегда бывают неприятны. Все это были прожектеры с явно необоснованными проектами, или попрошайничающие лгуны, или, просто-напросто, вору.

Он сказал:

– Спросите его, Наташа, толком, какое именно у него до меня дело. Я его совершенно не знаю и не могу принять его, не зная, зачем он пришел. Притом же я очень занят.

С той же стереотипной вежливостью отлично дисциплинированной горничной и с той же едва заметной усмешкой Наташа отвечала:

– Слушаю, барин.

Проходя мимо камина, она приостановилась, нагнулась, – как будто бы для того, чтобы поправить дрова, хотя в этом не было никакой надобности, а на самом деле для того, чтобы лишним раз выказать свою ловкость и свои формы, бросила в огонь свой смятый цветок, который она до того держала в руке, и постаралась сделать это так, чтобы Алексей Григорьевич это заметил и оценил бы ее покорность. Потом, легко поднявшись, Наташа опять быстро глянула в зеркало и той же неслышной походкой ушла.

IX

Через минуту Наташа вернулась, опять подошла к дивану, где все еще сидел Алексей Григорьевич, и сказала тихо, точно сообщала что-то секретное:

– Они говорят, что, безусловно, не могут мне сказать. Им бесприменно надо вас лично повидать. Скажите, говорят, вашему барину, что, безусловно, необходимо повидаться немедленно по делу, лично для барина очень важному.

Алексей Григорьевич досадливо помолчал и спросил:

– Ну, а с виду-то он какой? Приличный? Или похож на просителя?

Наташа легонько повела круглым, полным плечом, изобразила на своем лице замешательство и, еще более понижая голос, сказала:

– Как сказать уж, право, не знаю. Цилиндр на них и перчатки, ну, а пальто совсем не модное, потертое, а с лица, – так, не очень симпатичные. Борода большая, черная, очки синие, а сами как будто из цыган будут.

– Одним словом, темная личность, – тихо, как будто про себя, сказал Алексей Григорьевич.

– Не могу знать, – сказала Наташа.

Усмешка ее уже была смелая, словно она воспользовалась этими лишними словами Алексея Григорьевича. Алексею Григорьевичу стало досадно на самого себя. Как всегда в таких случаях, раздражение против себя обратилось на другого. Он резко сказал Наташе:

– Да я вас и не спрашиваю, Наташа. Пригласите. Наташа покраснела,

– и Алексей Григорьевич подумал, что она краснеет слишком часто. Опять ему стало досадно на то, что он слишком много внимания обращает на эту красивую, хитрую девушку и тем самым как бы поощряет ее старания кокетничать с ним.

Когда уже Наташа вышла, Алексей Григорьевич подумал, что этого подозрительного господина принимать не следует, и сообразил, что это слово "пригласите" нечаянно вырвалось у него и просто с досады. Он порывисто встал с дивана, быстрыми шагами подошел к большому, загроможденному множеству нужных и ненужных вещей

Звериный быт. Фёдор Сологуб sologubfyodor.ru

письменному столу и схватился за лежащую на нем в холодной бронзовой оправе в виде зеленовато-голубой лягушки на длинном синем шнурке пуговку электрического звонка, чтобы позвать Наташу и отменить свое распоряжение. Но сразу же он сообразил, что уже поздно, что, по всей вероятности, Наташа уже сняла с господина в цилиндре его потертое, немодное пальто и с насмешливой почтительностью открыла перед ним дверь в комнаты.

Алексей Григорьевич выпустил из рук холодную лягушку, и она боком упала на зеленое сукно рядом с вазочкой для карандашей. Он подошел к среднему окошку. Стоял спиной к свету и ждал. Почему-то вдруг почувствовал, что предстоящее свидание с комиссионером для наведения справок его странно волнует. Досадливо подумал, что жизнь в городе очень расстраивает нервы.

Х

После легкого Наташиного стука колыхнулась портьера. И, как-то странно ниже, чем можно было ждать, показалась голова смуглолицего, рябоватого человека с черной бородой и уже потом вся его облаченная во фрак фигура.

Алексей Григорьевич стоял у окна и смотрел на неожиданного гостя, нисколько не стараясь придать своему лицу любезное выражение. Комиссионер по наведению справок ему сразу не понравился. Это была уродливая помесь Урии Гипа из Диккенсова романа и капитана Лебедкина из Достоевского. Не по наружности, конечно, а по тому характеру, который всегда слишком ясными чертами изображается на лице, – ясными для всякого, привыкшего жить на свете. По наружности же это был довольно полный, хотя и не совсем чистоплотный господин. Фрак на нем был совсем приличный, сидел неплохо, крахмальная сорочка была почти чистая, а вот на галстуке, черном, слишком большом для фрака, виднелись два сероватых пятна. Черные в полоску брюки чем-то странно отличались от его фрака и были натянуты и лоснились на коленях. Синие стекла больших очков были слишком светлы, и это придавало его лицу странное выражение неудачного маскарада.

Как-то противно сгибаясь, потирая руки с таким видом, точно он был уверен, что руки ему не подадут, Кундик-Разноходский медленно подвигался к Алексею Григорьевичу. Руки у него были большие, красные, очевидно, недавно вымытые, – но почему-то, когда Алексей Григорьевич взглянул на них, то ему стало противно, и своей руки он, точно, не протянул. Вместо того он как-то поспешно показал левой рукой на приставленное сбоку письменного стола кресло и сказал:

– Прошу садиться.

Гость, продолжая неловко кланяться и потирать руки, говорил притворно-смущенным, жидковатым голосом, с противной пристрастностью улыбаясь:

– Прошу извинить меня. Побеспокоил, – может быть, оторвал от занятий? Кундик-Разноходский – моя фамилия. Впрочем, карточку мою изволили видеть? Там, извините, и моя профессия обозначена. Справочки собираю, по поручениям, а иногда и от себя, – такова уж моя специальность. Люблю узнавать разные сведения. С детства отличался любознательностью и, смею сказать, проявлял в этом направлении незаурядные способности. Вроде Лекока или, извините, Шерлока Холмса. И потому могу иногда сообщить чрезвычайно любопытные известия.

Говоря это, Кундик-Разноходский бочком пробрался к указанному ему креслу, еще раз поклонился и уселся. Тогда стало заметно, что устроен он как-то очень непропорционально, – ноги слишком короткие, туловище длинное, и потому сидя он казался выше, чем стоя. И это тоже почему-то было противно Алексею Григорьевичу. Ему казалось, что неправильность тела должна сопровождаться каким-нибудь изломом или вывихом души.

Алексей Григорьевич сел в кресло перед письменным столом и спросил неприветливо:

– Чем же я могу вам служить? Справок я не собираю. Кундик-Разноходский захихикал, заерзал в кресле, еще быстрее стал потирать свои руки и поспешно заговорил:

– Извините-с, Алексей Григорьевич, это я вам хочу служить. И надеюсь, что вы останетесь мною довольны. Я имею сделать вам чрезвычайно важное сообщение.



Звериный быт. Фёдор Сологуб sologubfyodor.ru

Он замолчал и смотрел на Алексея Григорьевича так, словно ждал чего-то. Алексея Григорьевича все больше раздражали красные руки гостя, и хотелось просить его, чтобы он перестал так сильно тереть их. Видя, что гость молчит, Алексей Григорьевич сказал ему холодно и строго, упорно глядя прямо в его вороватые глаза:

- Пожалуйста, говорите, господин Кундик-Разноходский, я вас слушаю.

Гость опять захихикал.

- Извините, - сказал он, - но так как это - моя специальность и так как я снискиваю этим средства к пропитанию, то, будучи человеком совершенно необеспеченным в материальном отношении, притом же имея на своем попечении большую жену, детей, которых надо учить, и престарелых родителей, которых надо покоить, и ввиду все возрастающей дороговизны припасов, то вы, милостивый государь, конечно, и сами поймете, что я не имею никакой возможности сообщать имеющиеся у меня сведения иначе, как за некоторый, хотя бы и самый умеренный, гонорарий.

Алексей Григорьевич с удивлением слушал это длинное, запутанное объяснение. Потом сказал:

- Да мне не нужно никаких от вас сведений, ни за деньги, ни даром.

Кундик-Разноходский развязно продолжал:

- После такого холодного ответа с вашей стороны я, собственно говоря, должен был бы немедленно встать и откланяться. Но, кроме желания заработать на вашем деле и возместить мои расходы по собиранию справок, и расходы довольно значительные, я руководствуюсь еще и человеколюбием. Сам имея детей, я обладаю, к сожалению, слишком чувствительным сердцем. Сведения, которые я могу вам сообщить, - не иначе, конечно, как за приличное вознаграждение, - могут избавить вас и ваших близких от большого несчастья.

Алексей Григорьевич улыбнулся. Самоуверенный тон Кундик-Разноходского начинал его забавлять. Он сказал:

- Несчастья для себя лично я не боюсь, а близких людей у меня нет.

Кундик-Разноходский сделал чрезвычайно серьезное лицо, рознял свои руки в первый раз с тех пор, как пришел сюда, поднял со значительным видом указательный палец и сказал забавно-торжественным тоном:

- Вы изволите забывать самого близкого к вам человека, вашего единственного сына, отрока Григория. А мне известно, что вы в нем души не чаете, хотя и воспитываете его на манер древнего спартамца, и потерять его было бы для вас весьма тягостно.

Кундик-Разноходский замолчал и сидел, уставясь на Алексея Григорьевича с видом опасливого сожаления.

XI

Алексей Григорьевич почувствовал, что бледнеет. Какие-то смутные подозрения, уже томившие его не раз после того, как в прошлом году его Гриша получил от своего деда большое наследство, опять зашевелились в его душе. Он пристально смотрел на Кундик-Разноходского и напряженно думал, можно ли ему хоть сколько-нибудь поверить.

Очевидно было по всему, что Кундик-Разноходский, действительно, человек подозрительный. Но потому-то он и может иметь такие сведения, какие можно получить только при постоянном общении с преступными и подозрительными элементами городского населения.

Алексей Григорьевич знал, что крупное наследство, доставшееся его Грише от Шурочкиного отца, вызвало большое озлобление среди других родственников, особенно у Гришиного дяди по матери, Дмитрия Нерадова, быстро разоряющегося господина.

Дети умирают так часто и так легко от какой-нибудь случайной заразной болезни, что никого бы не удивило, если бы и Гриша умер. Тогда его наследство опять вернулось бы в род его матери.

Гриша был всегда на глазах Алексея Григорьевича, и уберечь его, по-видимому, было нетрудно. Но кто может поручиться за то, что не случится, чтобы или он сам, или экономка, или Гришина воспитательница чего-нибудь не досмотрели?

И ведь весь вопрос теперь только в том, чтобы заплатить этому человеку сколько-то денег. Пусть он даже лжет, но разве жалко денег! И странно было бы предположить, что ничего не знающий человек приходит с улицы и рассказывает небылицы, требуя за это денег.

Алексей Григорьевич решительно спросил:

- Сколько вы хотите получить?

Кундик-Разноходский, ни на минуту не задумываясь, и уже не хихикая и не потирая рук, и даже слегка отвалившись на спинку кресла, с развязностью, почти нагло, сказал:

- За предварительное сообщение и вообще за мой сегодняшний визит соблаговолите уплатить мне сто целковых. Затем понадобятся еще кое-какие расходы, но, оценив значительность моих сообщений, вы уже сами определите подходящую сумму за передачу вам имеющихся в моих руках чрезвычайно любопытных документов.

Алексей Григорьевич выдвинул ящик письменного стола. Достал из него бумажник синей шагреновой кожи, большой, мягкий и удобный. Приоткрыл его с таким жестом, как будто опасался, что гость его ограбит. Вытащил оттуда сторублевую бумажку и протянул ее Кундик-Разноходскому.

Кундик-Разноходский взял бумажку бережно. Видно было по его лицу, что ему как будто бы жаль или досадно, того ли, что спросил мало, того ли, что нельзя заняться приятным делом пересчитывания засаленных, потрепанных кредитных бумажек. Он все-таки положил сторублевку себе на колено, погладил ее широкой ладонью, вздохнул и, наконец, спрятал ее в большой, с поломанной застежкой, рыжий кошелек, который он вытащил из кармана брюк и в котором виднелись, когда он его открыл, какие-то квитанции и расписки.

Потом Кундик-Разноходский сказал:

- Надеюсь, что вы позволите говорить с вами совершенно откровенно.

Алексей Григорьевич отвечал с досадой:

- Ну, конечно, иначе зачем же бы мне с вами и разговаривать!

- Кроме того, - говорил Кундик-Разноходский, - вы, конечно, соблаговолите дать мне обещание, что никому не откроете источника тех необычайных сведений, которые я вам сообщу. Потому что, как вы сами изволите понимать, для успеха моих специальных занятий совершенно необходимо, по крайней мере, в известных случаях, соблюдение строжайшей тайны.

- Хорошо, - сказал Алексей Григорьевич, - я обещаю, что никому не скажу, что от вас узнал то, о чем вы мне расскажете.

XII

Кундик-Разноходский помялся, поежился, потер руки и заговорил, понижая голос и принимая противное для Алексея Григорьевича выражение интимной и доверительной беседы:

- Позвольте мне начать немножко издалека и, так сказать, наметить некоторые ходы и нити. Дело, которое привело меня к вам, началось с того самого момента, когда вскрыто было духовное завещание покойного Николая Степановича Нерадова, по коему все имения и капиталы покойного перешли к его внуку, вашему единственному сыну, Грише. Конечно, вам неизвестно, что таким завещанием был крайне обижен дядя

Звериный быт. Фёдор Сологуб sologubfyodor.ru

сего наследника, сын покойного господина Нерадова, Дмитрий Николаевич. Хотя отношения Дмитрия Николаевича к его отцу всегда оставляли желать лучшего, но все-таки он рассчитывал, что получит, хотя половину наследства. А деньги Дмитрию Николаевичу, как вы сами изволите знать, при его долгах и при его широком образе жизни, всегда крайне нужны. Это – первое обстоятельство. В нем, как вы изволите видеть, пока еще нет ничего угрожающего. Затем позвольте вам напомнить, что летом минувшего года вы с Гришей были приглашены в имение достопочтенной супруги Дмитрия Николаевича, но почему-то отклонили это приглашение. Причиной этого было, насколько мне известно, полученное тогда вами анонимное письмо предостерегающего характера.

Алексей Григорьевич резко прервал его вопросом:

– Уж не вы ли писали это письмо? Кундик-Разноходский немедленно и с величайшей охотой согласился:

– Я-с. Единственно только из человеколюбия, не имея в виду никаких корыстных мотивов. Вы были в тот раз благоразумны и вняли предостерегающему вас голосу.

– Вы ошибаетесь, – возразил Алексей Григорьевич, – и без вашего письма я не имел намерения ни сам туда ехать, ни Гришу посылать.

– Смее спросить, почему? – спросил Кундик-Разноходский, нагло ухмыляясь.

Алексей Григорьевич улыбнулся и сказал:

– Вы слишком любопытны.

– Извините, – сказал Кундик-Разноходский, – любопытство есть черта, свойственная моей профессии и даже для нее необходимая.

– Довольно неприятная черта, – сказал Алексей Григорьевич. Кундик-Разноходский отвечал с наглой ужимкой:

– Что делать! Тем живем. Так как вы изволили разрешить мне говорить с вами откровенно, то, принимая во внимание некоторые признаки, я так и заключил, извините, что вы отклонили это приглашение вследствие того, что система воспитания детей Дмитрия Николаевича вами не одобряется, ибо вашего Гришу вы воспитываете в трогательной близости к природе и в простоте и внушаете ему идеи демократические, – только потому, а отнюдь не вследствие опасения, что катание на лодке или купание в речке может окончиться катастрофой.

– Какой вздор! – сказал Алексей Григорьевич. Но эти его слова не звучали убежденно.

– Из подслушанных разговоров, – возразил Кундик Разноходский, одно из наиболее щедро оплаченных мною сообщений.

Алексей Григорьевич насмешливо спросил:

– А не даром ли вы потратили ваши деньги? Кундик-Разноходский возразил хвастливо:

– Ну, нет-с, извините, имею нюх, натаскан в такого рода делах. Прислуга вообще любит подслушивать и не всегда умеет хранить господские секреты, хотя бы и криминального свойства. Однако перехожу к третьему обстоятельству. Дмитрий Николаевич обладает натурой увлекающейся и наружностью оболстительной для женщин. Если бы, например, случилось, что достопочтенная, хотя и юная воспитательница сына вашего Гриши, Елена Сергеевна, благосклонно отнеслась к ласковым словам Дмитрия Николаевича, то в этом не было бы ровно ничего удивительного. Может быть, извините, их сближение уже и началось. Хотя и вы очень доверяете этой молодой особе, приставленной вами к вашему единственному сыну, но если бы вам были известны некоторые обстоятельства или, так сказать, передачи вещей и денег, то, быть может, в ваше сердце закрались бы некоторые опасения.

– Кажется, – сказал Алексей Григорьевич, – все это – ваши фантазии. Елена Сергеевна – девушка скромная, честная, и напрасно вы позволяете себе все эти

намеки. Вообще, как я вижу, вы сообщаете мне вещи, мне хорошо известные и совершенно

обычные, хотя и прискорбные, и прибавляете к ним ваши собственные измышления.

- Пожалуйста, подождите, - сказал Кундик-Разноходский, - что вы скажете, если я перейду к таким предсказаниям, которые осуществляются в ближайшем будущем? И даже именно сегодня вечером? Известно ли вам, что Дмитрий Николаевич вчера приехал в здешнюю столицу?

- Нет, я этого не знал, - сказал Алексей Григорьевич.

- Дмитрий Николаевич скоро пожалует к вам, - говорил Кундик-Разноходский. - Вчера же Дмитрий Николаевич занимался покупками. Между прочим, было им куплено весьма большое количество очень тонких иголок. А вторая покупка показывает нежную заботливость Дмитрия Николаевича о его любимом племяннике Грише, - коробка конфет, тех самых, которые Гриша так любит, - тертые каштаны, в очень изящной коробочке.

Кундик-Разноходский замолчал. Он смотрел на Алексея Григорьевича с весьма значительным выражением лица. Алексей Григорьевич досадливо спросил:

- Что же из того?

- Не изволите усматривать тесной связи между этими двумя покупками? спросил Кундик-Разноходский.

- Вижу, что вы намекаете на что-то скверное, - отвечал Алексей Григорьевич, - но на что именно, не понимаю, и при чем тут тонкие иголки, не вижу.

- Плагиат, - сказал Кундик-Разноходский, хихикая, - заимствование из рассказа знаменитого заграничного писателя. Я как раз на днях этот рассказ читал с большим удовольствием.

- И внушали кому-то повторить его в России? - холодно спросил Алексей Григорьевич.

Кундик-Разноходский с достоинством возразил:

- Провокацией не занимаюсь.

Но видно было, что он не обиделся. А по его легкому замешательству Алексей Григорьевич заключил, что его случайная догадка близка к истине. В самом деле, было подозрительно, что этот человек так отчетливо знает, чем именно занимался сегодня Дмитрий Николаевич.

### XIII

Кундик-Разноходский продолжал:

- Преступники, извините, не всегда бывают достаточно изобретательны. Люди благонамеренные не напрасно жалуются на современную беллетристику, ибо она снабжает преступные элементы населения адскими замыслами и весьма, до тонкости разработанными преступными планами. Сочинители люди остроумные: они изобретают, а преступникам остается только применять. В заключение расскажу вам еще два факта: сегодня, в одиннадцать часов утра, в кофейне под Пассажем, Дмитрий Николаевич имел свидание с Еленой Сергеевной. Второе, как вы думаете, чем изволил заниматься Дмитрий Николаевич у себя в номере гостиницы?

- Какое же мне до этого дело! - ответил Алексей Григорьевич. Кундик-Разноходский возразил ухмыляясь:

- Ну, не скажите! Дмитрий Николаевич изволил отламывать кончики иголок. Тех самых, весьма тонких иголочек, которые были им вчера куплены. Вы скажете, что иголка без острия никуда не годится? Совершенно верно. Дмитрий Николаевич иголками и не интересуется. Все его внимание обращено на отломанные кончики. Вот эти-то кончики тщательно собраны и, смею думать, пошли в дело.

Звериный быт. Фёдор Сологуб sologubfyodor.ru

- Что же все это значит? - спросил Алексей Григорьевич. Кундик-Разноходский ухмыльнулся, пожал плечами, развел руками, помолчал немного и продолжал:

- Уже совсем в заключение позволю себе обратить ваше внимание еще вот на что: если коробка с тертыми каштанами будет принесена при вас, то вы, осмотрев ее внимательно, может быть, и сами заметите, что она завернута и завязана не совсем так, как это делают искусные пальчики опытных магазинных барышень. Если же ее и не при вас принесут, то, смею рассчитывать, вы сделаете распоряжение, чтобы ее до вашего прихода не трогали.

Алексей Григорьевич смотрел на Кундик-Разноходского и чувствовал в себе с каждой минутой возрастающий страх. Ему хотелось думать, что все эти рассказы - вздор, придуманный, чтобы оправдать получение ста рублей. Но преступление имеет свою неотразимую логику и свою мрачную убедительность. Алексей Григорьевич достаточно знал людей, чтобы никому из них не верить, и потому теперь он готов был верить Кундик-Разноходскому. Да и были основания.

Дмитрий Николаевич Нерадов и его жена всегда были неприятны и даже немного противны Алексею Григорьевичу. Они принадлежали к числу тех жалких людей, вся жизнь которых - внешняя и сводится почти к механическому усвоению и повторению того, что делают другие люди их круга. Но так как среди этих других всегда бывает несколько человек очень богатых, сравнительно с другими, то вся жизнь людей, подобных Дмитрию Нерадову и его жене, наполняется мучительными стараниями делать то, что не по средствам, и томительными поисками денег, которых всегда недостает.

Когда Дмитрий Николаевич женился на дочери разорившегося титулованного предводителя дворянства, отец выделил для него большую часть своего имущества, намереваясь остальное оставить дочери. Широкий образ жизни, неудачные аферы и проигрыши скоро заставили Дмитрия Николаевича запутаться в долгах. Он требовал у отца денег, отец не давал. Дело дошло до открытой ссоры.

Потом Дмитрий Николаевич постарался помириться отцом. Он употреблял все средства, какие только мог придумать, чтобы показать себя дельным и деловым человеком. Входил в компании с дельцами. В качестве гласного городской думы в одном губернском городе вникал в городское хозяйство, хлопотал, суетился, произносил искусные речи, собирал совещания избирателей и гласных и добился того, что его избрали городским головой, не столько за его деловитость, сколько в чаянии благ для города от его связей. В должности городского головы Дмитрий Николаевич принялся осуществлять грандиозные планы переустройства города на европейский лад.

Отец стал относиться к нему как будто благосклоннее. Говорил ему с тонкой усмешкой:

- Да ты у меня большой делец. Отцовское прожил, свое наживешь.

Дмитрий Николаевич уже надеялся, что отец оставит ему что-нибудь. Эти надежды были обмануты. Дмитрий Николаевич не умел скрыть своего раздражения. А потом вдруг словно переменялся. Стал необычайно ласков с Алексеем Григорьевичем и с Гришей. И даже говаривал:

- С богатым наследником нашему брату, разорившемуся помещику, ссориться не приходится.

Эта перемена теперь казалась Алексею Григорьевичу подозрительной.

XIV

Кундик-Разноходский, помолчавши, заговорил опять:

- Вот и все, что я имел сообщить вам предварительно. Хотя мои сообщения и не подтверждаются документами, - за исключением имеющей быть подаренной Грише коробки, - но все-таки вы изволили убедиться, что стоимость этих сведений значительно превышает полученный мной, выражаясь литературно, аванс. Компенсацию надеюсь получить при передаче вам документов чрезвычайной важности.

Алексей Григорьевич спросил упавшим голосом:

- Какие документы?

И сам, по неверному звуку своего голоса, он различил в себе это, столь частое у него, томительное состояние упадка духа, странного равнодушия, бездеятельного безволия. Он повторил погромче свой вопрос.

Кундик-Разноходский отвечал:

- Краткая, но весьма выразительная переписка, в которой, кроме уже упомянутых в нашем разговоре лиц, участвует лицо, о котором я сегодня не решился вам сказать. Когда прикажете принести эти документы?

- А сколько вы хотите за них получить? - спросил Алексей Григорьевич каким-то странно равнодушным голосом.

Он сам знал, что спрашивает об этом так только, для формы, но что заплатит столько, сколько спросит этот противный, страшный человек. Страшный своим знанием.

Кундик-Разноходский отвечал развязно:

- В цене сойдемся.

- Однако сколько же? - так же спокойно допрашивал Алексей Григорьевич.

Если бы Кундик-Разноходский был очень тонкий психолог, то он бы понял, что может получить очень много. Но это состояние холодного безволия, в которое слова его повергли Алексея Григорьевича, показалось ему признаком того, что Алексей Григорьевич не очень ему верит, что он мало взволнован его сообщением и что он склонен торговаться. И Кундик-Разноходский уже стал досадовать на себя, что за эти сто рублей так много рассказал. Пожалуй, теперь Алексей Григорьевич подумает, что сможет обойтись и без дальнейших сообщений.

Поэтому голос Кундик-Разноходского звучал не совсем уверенно, когда он, наклонясь в своем кресле, внимательно вглядываясь в лицо Алексея Григорьевича, сказал:

- Тысяча рублей не покажется вам много? Алексей Григорьевич спокойно сказал:

- Да, это - очень много, но если в ваших документах есть что-нибудь интересное, то я вам уплачу эти деньги.

Кундик-Разноходский подумал, что опять ошибся и что спросил мало. Но в это время Алексей Григорьевич решительно и быстро встал и спросил:

- Когда вы мне принесете ваши документы?

- Если позволите, - сказал Кундик-Разноходский, - завтра в это же время.

Разговор кончился.

XV

Алексей Григорьевич остался один. Он чувствовал в себе какую-то странную растерянность, томительное замешательство. Прошелся несколько раз по темно-синему сукну, заглушавшему звук его легких, лакированных, с невысокими каблуками, ботинок. Подошел к камину, поглядел на себя в зеркало.

Перед ним была высокая, стройная фигура очень молодого человека, которому на вид можно было дать лет тридцать пять, не более. В темных волосах, коротко подстриженных, ни одного седого волоска. На лице, теперь побледневшем от волнения, ни одной морщины. Глаза ясны и свежи, точно и не было бессонных ночей, скучных веселостей и одиноких, но милых печалей.

Алексей Григорьевич опять сел на свое любимое место, в привычном углу удобного, обтянутого мягкой темно-синей кожей, дивана, машинально взял в руки ту же книгу, но не читал. Он задумался о привычном.

Как всегда в значительные минуты жизни, вспомнилась жена, милая Шурочка. Расплавленным золотом опять упали в душу все те же ее два слова, тяжело и больно упали:

- Я умираю.

Потом его мысль пробежала длинный ряд этих лет после Шурочкиной смерти, и совокупность их представлялась теперь Алексею Григорьевичу каким-то обширным, холодным, пустынным покоем, в котором, подобный ряд бледных призраков, проходит скучный в ряду ненужных событий, и у четырех углов этого покоя видны четыре великие духа, господствующие над его жизнью. Черты их сначала были неопределенны и туманны, а теперь все яснее с каждым днем понимал Алексей Григорьевич их взаимную связь и характер их власти над жизнью.

Первый лик - призрак отошедшей от этой жизни и потому оставшейся навеки живой, неизменно властительной, - лик его жены. Она была подобна первой жене первого человека, полуночной, лунной Лилит, той, которую неразумные боятся.

Кто-то злой и порочный, кто-то из потомков страстной, земной Евы, придумал сказать про нежную Лилит, что она - злая и порочная, что она первая колдунья и мать всех злых чародеек и ведьм. Услада горьких одиночеств, щедрая подательница нежных мечтаний, сладчайшая утешительница Лилит! У тебя есть чары и тайны, но очарования твои благи и тайны твои святы.

Подобная Лилит, покойная Шурочка всегда предстояла душе Алексея Григорьевича, никогда не докучая своим внешним присутствием в этом предметном мире. Переставшая быть предметом среди предметов, уже ничего для себя не желающая, не имеющая ни в чем, даже забывчивой совести не посылающая нежных укоров, вот в этом самом своем отречении от жизни хранила она такую дивную власть, преодолеть которую не может никакая земная сила.

В первые годы Алексею Григорьевичу казалось, что это обаяние покойной Шурочки - нечто личное, только ему свойственное, принадлежащее исключительно силе его любви. Он думал, что, может быть, никто на земле, переживший любимого, не любил почившего так. Он знал, что есть люди, которые умирают, не перенеся смерти любимого человека. И в первые годы как-то странно удивляло его, отчего после Шурочкиной смерти он не застрелился.

Но шли годы, и любовь его к покойной Шурочке не угасала, и если не возрастала, то потому только, что она была любовью истинной и потому безмерной, такой любовью, которая не может знать ни умалений, ни возрастания. Это была любовь, неизменно господствующая над жизнью и над смертью.

Никаких внешних знаков не требовала эта любовь, - но Алексей Григорьевич хранил все, что осталось от Шурочки, и порядки, ею в доме заведенные, оставались без всякой перемены. Даже то, что прежде не нравилось Алексею Григорьевичу, против чего он

спорил с Шурочкой, теперь делалось так, как она хотела. Даже цвета и рисунки обивки на мебели, портьер и обоев никогда не менялись. Если же надобно было переменить прислугу, то выбиралась такая, которая была как можно больше похожа на бывшую при Шурочке.

В последние годы стал думать Алексей Григорьевич, что отошедшие от жизни владычествуют не только в его доме. Вся жизнь всего человечества строится так, как ее когда-то придумали строить те, кого уже нет. И что хорошо, и что худо, - и что прекрасно, и что безобразно, - все это придумали они, которых увенчала смерть и торжественный сонм которых царствует над живыми. Они придумали для нас, как нам жить, как нам думать, и самый мир мы видим только их глазами. Из нестройного хаоса смутно ощущаемых энергий они по произволу своему выделили признаки, расположили их в стройные системы, воззвали к жизни носителей этих признаков и дали им имена. Набросив личины предметов на каждое пересечение энергий, они, великие перекрестки мировых токов, осознали себя отдельными существами двойственной природы, покорными причинам и в то же время творцами своих целей. Обманув самих себя произволом своих дивных личин, о названных ими предметах они напряженными трудами мысли создали понятия, воздвигли мир идей, сотворили философию, религию, искусство, науку. С тех путей, которые они для нас

Звериный быт. Фёдор Сологуб sologubfyodor.ru  
начертали, нам не сойти вовеки, как бы ни были произвольны и случайны эти унаследованные нами пути.

XVI

Во втором лике было что-то странно соблазнительное, нечистое, злое. Каким-то вечным соблазном дышало страстное лицо, чувственные улыбались губы, призывные глаза, казалось, звали к чему-то радостному, тайному. Образ женщины, еще неопределенный, смутный, волновал, требовал чего-то. С этим ликом соединялись воспоминания о ночах, проведенных скучно и томно в тех местах, где люди веселятся, где женщины любезны и нарядны, где светит много огней, где льется вино.

Случайных встреч было много в эти годы, - увлекала темная страстность. А ныне, над холодным равнодушием, стал подниматься определенный образ одной женщины, которую Алексей Григорьевич недавно встретил и которую, как ему казалось, он начинал любить.

Несколько месяцев тому назад он встретился с нею на вечере в знакомом доме. Там были танцы, ужин и картежная игра. Сидели до шести часов утра.

Хозяйка дома любила привлекать в свой салон художников, артистов и писателей. Следуя моде того года, одна из ее дочерей, худенькая, стройная девица, разучила несколько танцев в стиле Айседоры Дункан. Теперь она показывала эти танцы гостям.

Барышня танцевала не очень искусно, но вежливые гости, конечно, шумно рукоплескали ей. Дамы и барышни окружили ее, благодарили очень нежно и заставили несколько раз повторить, пока барышня не устала совсем.

Молодая дама, сидевшая рядом с Алексеем Григорьевичем, тихо сказала ему:

- Не правда ли, как она мила?

Алексей Григорьевич видел эту даму сегодня в первый раз. Что-то в ней привлекало его, почему, еще он и сам не знал. Может быть, это было выражение жадной радости жизни, спокойной веселости, разлитой во всем ее существе. Как противоположность тихим внушениям покойной Шурочки, она была для Алексея Григорьевича полна такого соблазна, какого еще он не испытывал, потому, может быть, что еще ни в ком доньше он не встречал такой полноты радостного жизнеощущения. Может быть, она была немного более полна, чем бы следовало, но это скрадывалось изысканной неторопливостью ее движений и рассчитанной простотой ее туалета.

Напрягая память, чтобы вспомнить имя своей собеседницы, Алексей Григорьевич сказал ей с привычной своей откровенностью:

- Она очень мила, но танцы могли бы быть исполнены лучше. Впрочем, приятно и то, что эта проповедь свободной красоты находит отклик и здесь.

И, вспомнив наконец имя этой дамы, он сказал:

- Вам, Татьяна Павловна, не кажется ли, что многие из присутствующих здесь выиграла бы в таком костюме?

- Нет, - сказала Татьяна Павловна, - я этого не нахожу. Нет, совсем напротив: то, что мы обыкновенно носим, так хорошо скрывает все многочисленные погрешности нашего тела. Чтобы смело открыть свое тело, надобно, чтобы это тело было прекрасно, как у древних. А у людей нашего времени тела очень часто безобразные, слабые, вялые, с искаженными формами.

Алексею Григорьевичу было известно это рассуждение; он слышал его часто, и оно всегда его досадовало. И теперь ему особенно

досадно было слушать эти слова от этой женщины, тело которой было, по-видимому, так красиво, что мимо воли вызывало желание видеть его нагим. Он сказал:

- Так думают многие, но, как почти всегда, большинство бывает не право.



Татьяна Павловна спросила улыбаясь:

- А кто же прав?

Алексей Григорьевич отвечал с такой же улыбкой:

- Прав я, а я думаю, что и у наших современников тела прекраснее лиц и даже менее поддаются влиянию старости, болезней, слабости.

Татьяна Павловна улыбаясь ответила:

- Все-ж таки, мне бы не хотелось созерцать тела этих почтенных особ.

Она легким движением головы показала тот уголок гостиной, где в креслах мирно дремали два толстяка.

- Правда, - продолжала она, - прекрасное тело прекраснее всего, но непрекрасное надо скрывать, чтобы не оскорблять хорошего вкуса.

- Прекрасных лиц гораздо меньше, чем стройных тел, - возразил Алексей Григорьевич, - и если бы мы хотели быть последовательными и в самом деле руководились бы эстетическими соображениями, то нам пришлось бы носить маски.

Татьяна Павловна тихонько смеялась, прикрывая рот полуразвернутым белым кружевным веером. Она сказала:

- Это было бы забавно. И интересно. Постоянный маскарад. Постоянно раздражаемое любопытство.

- Этот маскарад скоро утомил бы, - сказал Алексей Григорьевич, - как утомляет всякая неискренность. Так и нас уже утомила неискренность и условность нашей жизни. Поэтому тем из нас, кто более чуток, уже давно хочется жизнь изменить. Уж очень скучно жить так, как мы живем.

- Маски могли бы носить не все, - возразила Татьяна Павловна. - И бедные дурнушки были бы в большом выигрыше.

- Пожалуй, - отвечал Алексей Григорьевич. - А так как вокруг нас много безобразных предметов, то уж тогда и на них пришлось бы надевать покровы и маски, чехлы и футляры. Представьте себе вид такого закутанного города.

Татьяна Павловна воскликнула со смехом:

- Какой ужас! Дома, затянутые серым холстом или кисеей, мебель в коленкорových чехлах, столбы электрических фонарей в деревянных футлярах. Все закрыто, все обманчиво. Нет, это было бы слишком невесело.

- Но зато последовательно, - возразил Алексей Григорьевич. Татьяна Павловна слегка склонила голову, помолчала немного и, медленно раскрывая и закрывая опущенной на колени нежной, обнаженной рукой свой легкий, белый на бледно-розовом платье веер, сказала задумчиво:

- Это - внешность, форма. Что носить, во что одеваться, это - только вопрос моды. Но мы и в самом деле ведем очень искусственный образ жизни. Мы делаем все, чтобы спорить с природой и со здоровым смыслом. И потому мы стали слабыми и неискренними. Правды мы не говорим и сами слушать ее не хотим. А если бы мы стали говорить правду, - вот странные бы произошли события!

Кто-то подошел, разговор прервался.

## XVII

За ужином Алексею Григорьевичу пришлось сидеть между двумя мало знакомыми ему барышнями. Хозяйка думала, что его надобно посадить с не пристроенными девицами: все в том обществе, где вращался Алексей Григорьевич, находили, что ему следует во второй раз жениться, не потому, что это нужно для него самого, а потому, что барышням надобно выходить замуж. Матери смотрели на Алексея Григорьевича, как на хорошего жениха, а девицам нравилась его спокойная, внушительная наружность, его

Звериный быт. Фёдор Сологуб sologubfyodor.ru  
любезные манеры, его экипажи и лошади.

Татьяна Павловна сидела далеко от Алексея Григорьевича. Ему стало скучно. Он с некоторым усилием скрывал это ощущение скуки и без обычного оживления поддерживал совсем не интересный для него разговор. К счастью, обе барышни были достаточно болтливы.

В начале седьмого часа утра Алексей Григорьевич вышел на улицу. Была поздняя осень, моросил мелкий дождь, но все-таки Алексей Григорьевич захотел пройти пешком и отпустил экипаж, за полчаса до того, по его просьбе, вызванный из дому швейцаром по телефону.

Алексей Григорьевич шел долго по пустым, тихим улицам. Уже начиналось раннее уличное движение, кто-то шел на работу, где-то

далеко гудел фабричный гудок, где-то близко слышался медленный звон раннего церковного колокола.

В мелких выбоинах мокрого тротуара застаивались маленькие осенние лужицы. Воздух был сер и сыр. Небо, которого так мало было видно над простором пасмурной улицы, было затянуто скучной серой пеленой. За легкой, мокрой чугунной решеткой и за влажными травами и кустиками цветника серой стройной громадой поднимались колонны и купол собора.

Алексей Григорьевич свернул с тротуара, прошел мимо цветника, поднялся по широким ступеням лестницы, нашел скрытую среди колонн в деревянном барабане дверь, такую непропорционально маленькую сравнительно с громадой здания, - настоящий вход в храм держался всегда закрытым, кроме торжественных случаев, - и вошел в церковь, расстегивая свое отсыревшее под моросившим дождиком пальто.

Громадное пространство собора казалось совсем пустым. Только кое-где у высоких, темных колонн виднелось несколько старушек, пришедших к этой ранней службе. В правом приделе священник торопливо, негромко совершал литургию. На клиросе стоял, читая быстро и невнятно, один дьячок. Несколько восковых свечек и лампад слабо мерцали перед местными иконами и над средними дверями алтаря. Равнодушные, сонные сторожа меля пол, и иногда гулко слышался шум их разговора о каких-то мелочах.

Алексей Григорьевич давно уже не ходил в церковь, и давно уже не молился дома, и не испытывал никаких молитвенных волнений. И теперь он сам не знал, зачем он пришел сюда, в этот величественный храм древнего прекрасного культа, в это здание, где все было ему чуждо и непонятно.

Правда, было что-то умирительное в тихом голосе священника и в смиренной молитве старух, - что-то, будившее старые воспоминания, отголоски детских лет. Но было досадно, зачем шуршат сухие метлы в руках сторожей, зачем за прилавком против алтаря разложены книжки и сидит готовая что-то продать просвирия с лицом скучающей попадьи из образованных.

Алексею Григорьевичу припомнилась благоговейная тишина парижских католических храмов, ряды соломенных низеньких стульев, робкий шепот исповедален. Он подумал, что там во время мессы пол мести не станут.

Он прошел в самый дальний от входа угол и там стоял долго в каком-то странном недоумении. Сначала мелочи развлекали его,

бормотание молящегося на коленях седого приказчика из соседнего рынка, - легкий топоток по плитам каблучков девочки-подростка, пришедшей вместе со своей бабушкой, - уютное, забавное ощущение испаряющейся быстро из его одежды уличной влаги. Потом внимание его углубилось в свое, тайное, заветное.

Алексею Григорьевичу казалось, что та неведомая сила, которая заставила его идти по влажной от дождя улице, которая привела его сюда, в это место молитвы, чего-то хочет от него или что-то хочет открыть ему. Он прислонился к стене, закрыл глаза и погрузился в задумчивость, которая вскоре перешла в легкую дремоту.

Лицо его Шурочки стояло перед ним. Ее грустная улыбка опять растрогала и

Звериный быт. Фёдор Сологуб sologubfyodor.ru  
взволновала его сердце. Губы ее легко двигались, слышались ее слова. Он не различал ясно слов, но знал, что это – слова о любви.

Потом другое лицо встало перед ним, лицо совсем иной красоты, неотразимо прельщающее. Но тогда как первое лицо, лицо его жены, было близким и единственно дорогим на свете, это новое лицо, веселый облик вновь явившейся ему женщины, казалось далеким и чужим, и все-таки неодолимо влекущим к чему-то тревожному. Улыбка ее была веселая, и глаза искрились смехом, – это было лицо Татьяны Павловны.

#### XVIII

Обедня кончилась. Послышался легкий шум шагов. Алексей Григорьевич очнулся от своей дремы и вслед за другими вышел из собора.

Что же это было с ним там, в полусумраке тихого храма? Зачем эти два лица предстали ему одно после другого? И о чем говорила ему Шурочка? И чему смеялась та, другая? Или это была только дремотная греза, коварный обман лукавого духа, таящегося иногда и вблизи святынь? И не сам ли он, войдя в храм, как входят в другие здания, не оградив себя спасающим крестом, привел с собой лукавого?

Алексей Григорьевич вдруг почувствовал, что он устал, что ему хочется спать. Захотелось поскорей вернуться домой. Он взял первого попавшегося извозчика.

Дома, когда он лег в постель и уже засыпал, перед ним опять встало весело смеющееся лицо Татьяны Павловны. Это видение было ярко, почти телесно, – не столько воспоминание, сколько галлюцинация. Оно смеялось все веселее. Глаза засверкали зеленым блеском, их зрачки сузились, и вдруг все это лицо стало странно изменяться. Лицо прекрасного зверя, веселой, хищной кошки явилось на одно мгновение, раскрылся жадный зев, и вдруг нахлынула тьма, в которой ярко сверкнули узкие, зеленые зрачки и погасли. Алексей Григорьевич заснул.

#### XIX

На другой день Алексей Григорьевич сделал визит Татьяне Павловне. Потом они стали часто встречаться, – на вечерах и на обедах у знакомых, в театрах, в концертах, в изысканных кабачках, у нее.

Они сближались. Алексею Григорьевичу казалось, что между ним и Татьяной Павловной есть много общего, – одинаковые вкусы, взгляды, требования от жизни. Если же в чем они не сходились, Татьяна Павловна быстро усваивала его мнение. И порой даже слишком быстро. словно она торопилась сказать:

- Да, Алексей Григорьевич, вы меня совершенно убедили в этом.
- Да, теперь я вижу, что ошиблась.
- Да, вы и в этом совершенно правы.
- Как я сама не понимала этого раньше!
- Я вам так благодарна, Алексей Григорьевич, – вы открыли мне глаза.

В первое время Алексей Григорьевич не очень доверял искренности этих поспешных обращений. Они казались ему внушенными чрезмерной любезностью. Потом, когда они познакомились поближе, эта недоверчивость исчезла.

И стало забываться понемногу беспокоившее в первое время странное явление в полусне, это превращение человеческого лица в лик зверя.

#### XX

Лик зверя, угнездившегося в городах, был третьим образом, господствующим в пустынной, просторной храмине его жизни.

"Из-под таинственной, холодной полумаски", носимой светом, все чаще сквозил этот отвратительный лик. В разговорах, в поступках, в намерениях людей все чаще сказывалось его смрадное влияние.

Когда человек в изысканной одежде, похожий на ком жира, в дорогом ресторане, за дорогим ужином, за серебряной вазой со льдом, откуда виднелось горлышко бутылки дорогого вина, говорил о тех, кто уже безоружны, кто уже ввергнуты в темницу, кто уже осуждены на казнь:

– Так им и надо! – Алексею Григорьевичу казалось, что человека здесь нет, что человеческое сердце здесь умерло и что в оболочке человека диким ревом ревет дикий зверь.

Когда Алексей Григорьевич слышал слова "погром, национальная политика, черта оседлости, ставка на сильных", ему казалось, что он слышит все тот же, в человеческие формы облаченный, нечленораздельный, звериный вопль.

Эти ужасные слова, эти звериные вопли не оставались только звуками, оскверняющими изначально чистый воздух земного бытия. Они носились над русскими просторами, как действительные зовы, и воплощались в деяния, постыднее и ужаснее которых мало знает седая история. Дыханием Зверя была отравлена вся жизнь, и потому так умножилось число самоубийств: юные и чистые не могли вынести неистовых деяний Зверя, не могли вытерпеть смрада, исходящего от него. Не хотели задыхаться в этом смраде и шли на вольную смерть.

Исчислено и на таблице кривыми линиями начерчено было людьми науки число вольных смертей, но не Зверю в укор. Зверь скалил свои белые, страшные зубы, хохотал и говорил:

– Не моя вина. Виновен тот, кто говорит о смерти и этим соблазняет к ней. Сожгите книгу, замкните уста, – сживутся со мной дети.

И приспешники Зверя, прикрывшись личинами свободомыслия, правдивости и научного исследования, с великой злобой повторяли его нечестивые слова, проклинали Слово и влекли его на Голгофу.

Ощущение близости Зверя в последнее время никогда не покидало Алексея Григорьевича. Если у Татьяны Павловны он его не чувствовал, то это даже иногда удивляло его. Но ему иногда становилось страшно думать о том, каким обществом она бывает окружена.

Когда она с любезной улыбкой слушала пошлую болтовню какого-нибудь посетителя ее гостиной, Алексею Григорьевичу казалось, что зрачки ее глаз суживаются и загораются зеленым блеском.

XXI

Светел и радостен был четвертый лик, – образ ребенка. В этом образе ребенка была непосредственная радость жизни, неложное оправдание всему, что было, родник великих надежд и неистощенных возможностей. Уберечь бы только его от разевающего пасть Зверя!

Алексею Григорьевичу представлялось стремительное, облелеянное солнцем, обнаженное тело его Гриши, одинаково прекрасное и в игре, и в труде, и в радостном делании, и в суровом претерпении. Он радовался, что Гриша растет не так, как он сам рос, и что в нем восстановлен тот природный человек, о котором мечтал ряд поколений, уставших от нашей европейской, точнее сказать, парижской цивилизации, милой, но к упадку клонящейся.

Дружба с вечными стихиями, постоянное единение детского тела с милой матерью, сырой землей, нежной и жестокой, с вечно подвижными струями холодных и ласковых вод, с легким воздухом земной жизни, с неистощимым пылом ярого солнца, – это радостное и суровое единение, в которое он поставил Гришу, было источником такой бодрой, здоровой жизни, что душа Алексея Григорьевича каждый раз при созерцании этого образа наполнялась радостью, похожей на первоначальную детскую веселость.

Вначале, когда еще Гриша был мал, Алексей Григорьевич был очень неуверен в себе и в своих мыслях об его воспитании. Он читал много книг, много беседовал с людьми, занимающимися теорией или практикой воспитания, и все эти чтения и разговоры только усиливали в нем чувства неуверенности и беспокойства. Чем более он узнавал, что такое человек, как предмет воспитания, и какие педагогические

Звериный быт. Фёдор Сологуб sologubfyodor.ru  
эксперименты над ним в разные времена проделывались, тем более казалось ему, что в этом деле никто не знает наверное, что именно надобно делать.

Иногда даже казалось Алексею Григорьевичу, что следует бросить все книги, пренебречь указаниями всех детоведов и детоводов и поступать так, как поступали до него неисчислимы ряды поколений, воспитавшие своих детей или с мудрой осторожностью горожанина, удаляющего опасности от нежного детства, или с суровой, но не менее мудрой простотой деревенского жителя, бросающего нежное детство в широкий мир, благосклонный для сильных и счастливых и беспощадно истребляющий все слабое и неспособное радоваться жизни.

Но время шло, Гриша выросал, и все увереннее и радостнее становился Алексей Григорьевич, потому что он видел, что избранный им путь прав, путь, на котором сочетаются мудрая забота и суровая простота, путь, на котором постоянно воздвигаемые трудности рождают гордое чувство победы. Этот путь правого воспитания определился для Алексея Григорьевича сочетанием четырех начал:

свободы, дисциплины, гимнастики и техники. Дух, освобожденный от власти общеобязательных норм, сам восставляет над собой догмы, которые служат ему, как берега текущим водам, оберегая их цельность и стремление их к цели, ибо освобождение возможно только на путях целесообразностей, – и в этом союз свободы и дисциплины. Тело, развившее все свои способности, дает человеческому духу возможность господствовать над миром посредством машин и выработанных методов, – и в этом союз гимнастики и техники. Все же четыре вместе образуют современного человека.

XXII

"Что же, однако, теперь делать?" – подумал Алексей Григорьевич, припомнив вдруг весь сегодняшний разговор с Кундик-Разноходским.

Елена Сергеевна, Гришина воспитательница, жила у него недавно, с весны. Она Алексею Григорьевичу нравилась, потому что аккуратно и старательно исполняла все то, что говорил ей Алексей Григорьевич. Ему было приятно, что она, по-видимому, совершенно искренно сочувствует его взглядам на воспитание, любит детей, не скушает говорить и заниматься с Гришей, во всем является для него не только воспитательницей, но и товарищем. Может быть, Алексею Григорьевичу и потому особенно была приятна эта скромная, милостивая девушка, что она была рекомендована ему Татьяной Павловной. Приятна была она и для Гриши.

Теперь Алексей Григорьевич припомнил, что за последний месяц он уже не так был доволен Еленой Сергеевной. Она стала очень рассеянной, беспокойной. Ее глаза иногда как-то странно избегали его взоров. В звуке ее голоса порой слышалось смущение. Алексей

Григорьевич думал, что это происходит оттого, что молодая девушка влюблена, и притом не очень счастливо.

Несколько недель тому назад Гришин дядя, Дмитрий Николаевич, приезжал в столицу из того города, где он был городским головою. Там уже стали осторожно поговаривать, что он запутался в делах, давно перестал отличать свой карман от городской кассы и что затеянные им городские постройки и сами по себе для города убыточны, да и ведутся нечисто. Дмитрий Николаевич приезжал сюда с какими-то городскими ходатайствами. Он несколько раз заглядывал к Алексею Григорьевичу, был очень ласков с Гришей и чрезвычайно любезен с молодой гувернанткой.

Однажды, после ухода Дмитрия Николаевича, Алексей Григорьевич спросил Елену Сергеевну:

– Как вы находите этого моего родственника?

– Он – такой любезный, – отвечала Елена Сергеевна, – и разговорчивый.

Глаза ее радостно блестели, и щеки нежно зарумянились.

– А вы с ним раньше не встречались? – почему-то спросил Алексей Григорьевич.

Его очень удивило, что Елена Сергеевна при этом вопросе смутилась и покраснела.

Он объяснил себе это тем, что она равнодушна к Дмитрию Николаевичу. Пожалел бедную девушку, влюбившуюся в женатого и легкомысленного человека.

– Да, – сказала Елена Сергеевна, – я раза два встречалась с Дмитрием Николаевичем у Татьяны Павловны.

И это опять удивило Алексея Григорьевича. Он не знал, что Татьяна Павловна знакома с его родственником. Правда, он сейчас же сообразил, что в этом нет ничего удивительного и что, если Татьяна Павловна об этом не говорила, это было только случайно:

просто об этом не заходило разговора.

XXIII

На другой день после этого разговора с Еленой Сергеевной, возвращаясь домой с поздней вечерней прогулки, Алексей Григорьевич увидел, что окна гостиной в его квартире освещены. Значит, кто-то пришел и ждет его.

– Кто у меня? – спросил он швейцара.

Швейцар отвечал почтительно:

– Дмитрий Николаевич приехали. Уж с полчаса, как изволили подняться.

Алексей Григорьевич вошел в тесную, блестящую зеркалами клетку лифта. Он чувствовал в себе опять ту же досаду, которая всегда охватывала его перед встречами с Дмитрием Николаевичем. Он открыл дверь квартиры своим ключом и тихо вошел в переднюю. Ему хотелось сначала пройти к себе в кабинет, чтобы не сразу встретиться со своим родственником.

Из гостиной слышались веселые голоса и смех. Алексею Григорьевичу показалось даже, что он слышит звук поцелуя. Ему стало досадно. Он подумал, что надобно будет поговорить с Еленой Сергеевной. Но в гостиную он все же не пошел. "Проходя по темному коридору, Алексей Григорьевич заглянул в Гришину спальню. Там было темно. Слышалось ровное дыхание спящего мальчика. На невысокой железной кровати из-под отброшенного легкого покрывала смутно белелось нагое Гришине тело. Алексей Григорьевич постоял на пороге.

"Только тут свое, – подумал он, – а там чужие. И даже любимая женщина здесь, на этом пороге, останется чужой и не войдет в радость и в тайну этой кровной близости".

Было в душе его странное чувство отрешенности от всего мира. Казалось, что никто из людей не нужен, что лик женщины обманчив, что он близок лику Зверя. Казалось, что только здесь, где тихо дышит спящий чистый ребенок, в жилах которого струится Шурочкина кровь, кровь отошедшей от мира, но вечно живой, только здесь, в этом интимном святилище, таится неложное откровение и не обманчивая поживает надежда.

Алексей Григорьевич подошел к Гришиной кровати и провел рукой по Гришину смуглому телу. Под слегка похолодевшей в прохладном воздухе спальни кожей ощущалась горячая плоть и знойная кровь. Алексей Григорьевич прикрыл Гришу покрывалом. Гриша вытянулся, приоткрыл глаза, шепнул сонно:

– Папочка!

И заснул опять.

Алексей Григорьевич вошел в свой кабинет, не зажигая ламп. Свет электрического фонаря на улице бросал в окно с еще раздвинутыми синими занавесями полосы, похожие на блеск полной луны, и потому в комнате было почти светло, мечтательно и приятно. Алексей Григорьевич сел в угол своего дивана. Не хотелось ему выходить, и, может быть, он так бы и просидел здесь долго. Но вдруг голоса, смех и шум в гостиной вывели его из того состояния приятной задумчивости и мечтательности, в которое он погрузился. Он вышел в гостиную.

XXIV

Алексею Григорьевичу показалось, что его неожиданное появление смутило и Дмитрия Николаевича, и Елену Сергеевну. Они как-то странно и поспешно отодвинулись один от другого в разные углы розовато-зеленого диванчика, на котором они сидели, весело и громко говоря о чем-то. Лицо Елены Сергеевны пылало. Глаза ее слишком сильно блестели. Над ее заалевшимся ухом билась прядь светло-русых волос.

Дмитрий Николаевич, с находчивостью светского человека, скорее Елены Сергеевны вышел из своего минутного замешательства. Он встал с дивана и быстро пошел навстречу Алексею Григорьевичу, округляющимся животом вперед, широко раскрывая руки, радостно улыбаясь. Его длинные усы были начернены и закручены узкими стрелками, слегка припухлые щеки были румяны, в глазах был маслянистый блеск, и все его приемы были фатоваты и слишком провинциальны.

На нем была серая визитка. В слишком пестром галстуке блестел большой бриллиант булавки. Пахло от него вином, шампунем и духами.

Дмитрий Николаевич весело заговорил:

- А я тебя заждался и уже хотел было уходить. Да вот, благодаря Елене Сергеевне, не поскучал. Поболтали с ней, позлословили.

Алексей Григорьевич спрашивал с чувством странной ему неловкости:

- Ну, как твои дела? Рассказывай, где был, что видел. Дмитрий Николаевич с веселым хохотом отвечал:

- Дела - табак! Кажется, все мои старания исполнить пожелания моих достопочтенных сограждан успехом не увенчаются и придется мне возвращаться восвояси с носом. Да и сказать по правде, наши отцы города затеяли ужасную ерунду, и вполне понятно, что из этого ничего не выйдет.

Алексей Григорьевич с удивлением спросил:

- Да разве это - не твоя инициатива?

Дмитрий Николаевич хохотал, и было в его смехе что-то наглое и циничное.

- Между нами говоря, - сказал он, - все они - ужасные моветоны и дурачье непроходимое. До пяти сосчитать не сумеют. Если бы не я и не мои постройки, город до сих пор тонул бы в грязи и во мраке. Жаль только, что на хорошие дела нужны хорошие деньги, а доставать хорошие деньги трудненько, даже и при моих финансовых способностях и при моей изворотливости.

- Да ведь ваш город богат, - сказал Алексей Григорьевич. Дмитрий Николаевич опять захохотал.

- До меня был богат, - развязно сказал он, - ну, а что касается меня, так я праздно лежащих богатств не выношу и стараюсь употребить их более или менее с толком. Не терплю я этой азиатчины, этих бухарских халатов. Я европеец. Мне нужен широкий размах, я люблю создавать, строить и тратить. В кубышку откладывать - не мое дело. Капиталов в свете много, французский рантье даст денег сколько хочешь и процент возьмет умеренный, - так отчего же не должны!

- А правду говорят, - спросил Алексей Григорьевич, - что ваше городское хозяйство сильно запуталось в последнее время?

- Совершенную правду, - с тем же циничным хохотом отвечал Дмитрий Николаевич.

Этот постоянный смех нагло откровенного хищника все более раздражал Алексея Григорьевича. Он поспешил перевести разговор на другие темы. Когда Дмитрий Николаевич уходил, показалось Алексею Григорьевичу, что он и Елена Сергеевна обменялись нежными взглядами. С тех пор и стал замечать в ней Алексей Григорьевич эту неприятную перемену.

После разговора с Кундик-Разноходским все это, казавшееся ему прежде вполне естественным, хотя и неприятным, стало тревожить его. А всего более тревожным было то, что в этом странном сплетении людей и отношений могла быть замешана

Звериный быт. Фёдор Сологуб sologubfyodor.ru  
каким-то непонятным образом и Татьяна Павловна. Конечно, если верны рассказы Кундика-Разноходского, то она окажется только слепым орудием темных замыслов Дмитрия Николаевича. Конечно, никакого участия в его планах она не могла принимать. Но все же тяжело думать, что людская злоба приблизилась и к этому светлому приюту, что дыхание Зверя проносится и над этой милой головой, что его гнойная пена может брызнуть и на эти очаровательно нежные руки.

XXV

Алексей Григорьевич позвонил и вошедшую на звонок Наташу спросил:

- Гриша дома?

- Дома, - отвечала Наташа, - сейчас Елена Сергеевна собираются идти с ним гулять.

- Попросите ко мне Елену Сергеевну, - сказал Алексей Григорьевич, - а Гриша пусть чем-нибудь пока займется.

Наташа ушла. Алексей Григорьевич не знал, что он может сказать Елене Сергеевне, о чем он может ее спросить. Но он чувствовал, что надобно что-то сделать, - и смутная тревога в его душе все возрастала. Он думал, что ход разговора сам приведет его к каким-нибудь заключениям, что лицо и глаза молодой девушки скажут больше ее слов.

Слегка запыхавшаяся и покрасневшая, словно от возни, вошла Елена Сергеевна. Вглядевшись в ее миловидное лицо с ровно очерченными нетемными дугами бровей, Алексей Григорьевич вдруг подумал, что она доступна всяким влияниям. Как слушалась его, так легко готова слушаться других. Как охотно занималась вместе с Гришей гимнастикой и наравне с Гришей ходит дома и в деревне босиком, так охотно поднесет ребенку яд. Вечная исполнительница чужой воли!

Алексей Григорьевич смотрел на нее внимательно и пытливо. Ему показалось, что его пристальный взор смущает Елену Сергеевну. Она быстро сделала несколько шагов по кабинету и сказала:

- Вы желали меня видеть, Алексей Григорьевич? А я только что кончила урок с Гришей, и мы с ним уж собирались было одеваться для прогулки.

- Извините, я вас долго не задержу, - отвечал Алексей Григорьевич. Пожалуйста, присядьте, мне надобно сказать вам, - спросить вас кое о чем.

- Пожалуйста, я слушаю, - сказала Елена Сергеевна. - Я пока заняла Гришу. Он у себя.

Глядя на Алексея Григорьевича с неискренним выражением человека, который боится, что ему могут задать неприятный вопрос, Елена Сергеевна села в то же кресло, где перед этим сидел Кундик-Разноходский. И почему-то от этого сближения Алексей Григорьевич вдруг почувствовал опять жалость к этой девушке.

Может быть, она полюбила этого неискреннего, неразборчивого в средствах человека. Может быть, для него готова она даже и на преступление. Может быть, она в его руках является только слепым орудием и притворяется, только пересиливая себя.

Или солгал все это Кундик-Разноходский? Но мало было надежды на то, что слова его - ложь.

Алексей Григорьевич заговорил негромко и осторожно:

- Извините меня, Елена Сергеевна, но я должен задать вам щекотливый вопрос. И делаю это я только потому, что для меня, в интересах Гриши, совершенно необходимо разъяснить некоторые обстоятельства. Скажите, пожалуйста, когда вы в последний раз видели Дмитрия Николаевича.

Елена Сергеевна, слегка краснея и, очевидно, волнуясь, сказала:

- Не помню. Право, не помню. Когда Дмитрий Николаевич приезжал к вам?



Алексей Григорьевич спросил:

- Вы знаете, что Дмитрий Николаевич со вчерашнего дня здесь, в городе?

Елена Сергеевна промолчала, пожала плечами, - может быть, волнение мешало ей говорить.

Алексей Григорьевич продолжал спрашивать:

- Сегодня утром вы его видели?

- Право, я не знаю, почему вы об этом спрашиваете, - нерешительно сказала Елена Сергеевна. - Мои встречи не касаются моей службы у вас. Это мое частное дело. И, наконец, я имею право иметь свои секреты. Мне даже удивительно, что вы меня об этом спрашиваете.

Все это было странно, и никогда раньше Елена Сергеевна не говорила так, этим неприятным, не идущим воспитанной барышне тоном уличаемой в плутнях камеристки. Но ему нравилось то, что ей трудно солгать и что потому она не отрицает прямо сегодняшней встречи.

- Я бы не спрашивал вас, - сказал Алексей Григорьевич, - если бы дело не касалось, к сожалению, моего сына.

- Вы ставите мне в упрек мои поступки? - спросила Елена Сергеевна. - Но ведь вы не можете сказать, что я дурно влияю на Гришу. Я во всем точно следую вашим указаниям, и от меня Гриша не видит и не слышит ничего дурного и соблазнительного.

- Нет, - сказал Алексей Григорьевич, - я не об этом хочу с вами поговорить. Хотя мог бы и об этом. И даже, может быть, должен был бы поговорить с вами и об этом. Дмитрий Николаевич женат и имеет детей, но он увлекается женщинами и неспособен к длительным привязанностям. Мне давно следовало бы решительно предостеречь вас, как живущую в моем доме и, стало быть, под моей охраной молодую девушку, от возможного сближения с этим человеком. Это было бы и в ваших интересах, и в интересах того дела, которое вам в этом доме поручено.

Елена Сергеевна покраснелась и не говорила ни слова. Алексей Григорьевич продолжал:

- Но сейчас меня интересует другое. Я говорю с вами, Елена Сергеевна, теперь только о Грише. Я боюсь, что вы разговаривали сегодня с Дмитрием Николаевичем, между прочим, и о Грише.

Елена Сергеевна в замешательстве, с притворным недоумением отвечала:

- Что ж такое! Разве нельзя разговаривать о Грише? Ведь ему от этого худо не станет!

- Может быть, и худо станет, - возразил Алексей Григорьевич. - Я бы очень хотел знать, что именно вы сегодня говорили с Дмитрием Николаевичем о Грише.

- Да ничего особенного, - отвечала Елена Сергеевна, - я даже не помню. Ну, о занятиях, об его здоровье, - не помню подробно.

Алексей Григорьевич молча смотрел на Елену Сергеевну. По ее возрастающему замешательству он видел, что она скрывает правду. И он решил сделать рискованный вопрос.

Твердым и решительным голосом, глядя прямо в глаза растерявшейся девушки, он спросил:

- Елена Сергеевна, что передал вам сегодня Дмитрий Николаевич? Отдайте мне это.

Елена Сергеевна спросила глухим шепотом:

- Откуда вы знаете?

Лицо ее странно и жалко побледнело, и глаза ее не могли оторваться от настойчивого взора черных глаз Алексея Григорьевича. И уже не было в душе Алексея Григорьевича ни страха, ни жалости, ни сомнений. Даже мысли определенной никакой не было. Вся его жизнь, вся его воля сосредоточились в его глазах, – и они настойчиво требовали ответа.

Елена Сергеевна все более бледнела. Она встала, словно хотелось ей уйти дальше от этих настойчивых глаз, – схватилась рукой за спинку кресла, – и рука ее вздрагивала.

– Отдайте мне то, что вы получили от Дмитрия Николаевича, – опять сказал Алексей Григорьевич. – Это у вас? Принесите сейчас же сюда.

Елена Сергеевна низко опустила голову и медленно вышла из кабинета.

XXVI

Когда она ушла, Алексей Григорьевич почувствовал странную усталость. Он бессильно опустился в кресло и сидел, ни о чем не думая, как будто бы забыв о том, что сейчас было, и о том, чего он ждет. Лик Зверя встал перед ним: гнусная пасть звериная дымилась смрадно и омерзительно.

Потом вдруг Алексея Григорьевича поразила мысль, что Елена Сергеевна, опомнившись от первого потрясения и, выйдя из-под власти его настойчивой воли, выбросит или сожжет то, что она с собой принесла сегодня от Дмитрия Николаевича. И тогда он не узнает, что это было, и ему придется еще долгие часы томиться страшной неизвестностью.

Он порывисто встал и быстро вышел из кабинета. Шаги его отчетливо и гулко раздавались на холодных желтых паркетах залы. Но через столовую он постарался пройти бесшумно.

Войдя в длинный полутемный коридор, Алексей Григорьевич увидел в полуоткрытую дверь буфетной, что Елена Сергеевна стоит у мраморной раковины, вделанной под краном водопровода в окрашенную синей масляной краской стену.

Елена Сергеевна услышала за своей спиной шаги. Поза ее выдавала растерянность и желание что-то скрыть.

Алексей Григорьевич быстро подошел к ней. Она повернулась боком к стене и держалась правой мокрой рукой за край раковины. Неловкими от торопливости движениями ноги она старалась оттолкнуть что-то к стене, – и Алексей Григорьевич увидел на полу близ края ее платья раскрытую пустую коробку.

Увидев, что Алексей Григорьевич заметил эту коробку, бледная, готовая упасть без чувств девушка быстро нагнулась к раковине, левой рукой повернула кран, чтобы бежавшая из него вода текла сильнее, и правой рукой торопливо проводила по дну раковины, словно стараясь протолкнуть что-то в отверстие нижней решетки.

Алексей Григорьевич взял ее за руки, отстранил от раковины, – она не сопротивлялась, – потом закрыл кран и нагнулся над раковиной. Вода быстро сбегала, унося с собой остатки какого-то белого порошка, который в воде, очевидно, не растворялся. Когда последние капли воды сбегали, Алексей Григорьевич увидел, что на решетке осталось несколько мелких белых крупинок.

Он осторожно собрал их двумя пальцами, бережно положил их на ладонь левой руки и подошел к выходившему на двор окну. Крупины были прозрачно-белые, на ощупь твердые, колючие.

Алексей Григорьевич понял, что это было толченое мелко стекло. Он повернулся к Елене Сергеевне. Она стояла близ него и с тупым испугом глядела на его руки.

Он спокойно спросил Елену Сергеевну:

– Зачем вам понадобилось это стекло? Она молчала.

– Оно было вот в этой коробке? – спросил ее Алексей Григорьевич, указывая

Звериный быт. Фёдор Сологуб sologubfyodor.ru  
глазами на валявшуюся на полу коробку.

- Да, - тихо сказала Елена Сергеевна.

Она нагнулась, подняла коробку, подала ее Алексею Григорьевичу. Все это она проделала как-то механически, почти бессознательно.

Это была небольшая картонная коробочка овальной формы, из тех, в которых продаются маленькие конфетки для театра.

- Зачем вы это взяли? - спросил Алексей Григорьевич. Елена Сергеевна заплакала. Она закрыла лицо руками и тихо говорила:

- Не знаю. Он говорил, а я слушала и все готова была сделать. Он обошел меня ласковыми словами. Слушалась, как дура, как рыба. Он сказал мне: Возьми, подсыпай понемножку Грише в пищу. - Я и взяла, даже не думала ничего. Точно во сне было. Только сейчас поняла, что хотела сделать, на что пошла.

Замолчала. Стояла перед Алексеем Григорьевичем, низко опуская голову, вытирая платком неудержно льющиеся слезы. Алексей Григорьевич спросил:

- Раньше он вам передавал что-нибудь для Гриши?

- Нет, - сказала Елена Сергеевна, тихо плача, - это первый раз. Раньше только уговаривал. Говорил, - у Гриши полтора миллиона. Говорил, - золотой дождь. Говорил, - жена надоела, разведусь. Да этому-то я не верила. Хоть так, - большие деньги. Соблазнилась. У меня, вы знаете, братья маленькие, учить надо. Да нет, что я! Ведь вы мне достаточно платили, - на всех бы хватило. Ужасно! Сама не понимаю, - что со мной было.

- Сколько же он вам обещал? - спросил Алексей Григорьевич.

- Пять тысяч сразу, - отвечала Елена Сергеевна, - и ежегодная пенсия по тысяче рублей. В обеспечение обещал векселя выдать.

- Выгодная сделка, - холодно сказал Алексей Григорьевич. Он вышел в коридор. Из буфетной комнаты были слышны истерические рыдания.

## XXVII

Алексей Григорьевич захотел увидеть Татьяну Павловну. Мучительное беспокойство, гнетущая мысль о том, что Татьяна Павловна знакома с Дмитрием Николаевичем, что это она рекомендовала ему Елену Сергеевну, - все это заставляло его спешить к ней, взглянуть в ее ясные, милые глаза, вслушаться в золотые звоны ее девически чистого голоса, прильнуть к ее нежным, прекрасным рукам, от которых пахло сладкими духами, немножко напоминавшими любимый Шурочкин кигриз, такой сладостный и радостно-забавный аромат.

Теперь, пока еще не были приняты меры к ограждению Гриши от покушения на его жизнь, Алексей Григорьевич не решился оставить его дома. Поручить его надзору экономки он не хотел, - пришлось бы этой преданной, но все-таки чужой женщине рассказывать, в чем дело, а это казалось ему теперь еще неудобным. Да и так страшно было с кем-нибудь говорить об этом!

Он пошел к Грише. Гриша сидел один за столом близ окна, скрестив стройные голые ноги, и с увлечением решал какую-то сложную задачу.

Услышав шаги отца, Гриша обратил к нему весело улыбающееся, забавно-озабоченное лицо, - задача попала трудная. Это выражение озабоченности теперь особенно ясно выдавало Гришине сходство с его покойной матерью.

Алексей Григорьевич вспомнил Шурочкино исхудалое лицо и ее тонкие руки, когда она лежала в белом гробу, все белая в белом платье под белыми цветами, - Гришине лицо в гробу на белой подушке, и Гришины сложенные руки под белыми цветами вдруг померещились ему почти с отчетливостью галлюцинации. Холодный ужас охватил его. Он подумал:

"Нет, не будет так. На край света увезу его, схороню за океанами, не дам

жадному, жестокому Зверю".

- Елене Сергеевне нездоровится, - сказал он. - Я отвезу тебя, Гриша, в гимнастический городок, а сам проеду к Татьяне Павловне. Потом за тобой заеду.

Гриша радостно начал одеваться. Он любил ездить или ходить куда-нибудь с отцом.

Натягивая теплые серые чулки на полные икры сильных ног, он сказал:

- Папочка, - сегодня утром я читал необыкновенно интересную книгу. Можешь себе представить, о чем?

- О чем, Гриша? - спросил Алексей Григорьевич. И не было в его голосе той бодрой веселости, которая всегда охватывала его, когда он разговаривал с сыном. Он сел на стул около окна, спиной к свету, чтобы Гриша не заметил его волнения.

Но уже Гриша заметил, что отец расстроен чем-то. Он опасливо посматривал на отца. Припоминал, не сделал ли он чего-нибудь такого, на что Елена Сергеевна могла бы пожаловаться. И говорил негромко:

- Об Аргентине. Необыкновенно интересная страна. Знаешь что, папочка, съездим когда-нибудь туда. На большом океанском пароходе через тропики, через экватор, - так интересно, что и сказать нельзя.

Алексей Григорьевич думал:

"Может быть, и в самом деле уехать нам с Гришей куда-нибудь, в Аргентину или на Сандвичевы острова, где жизнь людей еще близка к первоначальной дикости, где язык людей не так лжив, как наша коварная речь, где милые стихии родственнее человеку и ближе к нему, - туда, в далекий край, где нет нашей политики, и нашей цивилизации, и наших вопросов, и нашей злой и лукавой слабости".

Он представил Гришу и Татьяну Павловну в Океании, на коралловом атолле, под кущей тонких пальм, - и на минуту ему стало почти весело.

## XXVIII

Санки бежали быстро по снежной мостовой. В лицо веял легкий морозный ветерок. На перекрестках улиц в железных круглых печках трещали дрова, рассыпая искры, распуская в воздухе теплый дым. Какие-то косматые, шершавые люди тянулись темными и на морозе лицами к сладкому дыму печей, прихлопывали громадными рукавицами и приплясывали, словно играли с искрами и с дымом.

Гришины щеки были румяны. Гришины глаза весело блестели, - русская зима нравилась Грише и веселила его северное сердце. Он был хорошо приучен к холоду и любил мороз.

Теперь, поддаваясь ощущению зимней бодрости, Алексей Григорьевич думал, что нельзя расстаться с родной землей, нельзя бежать за океан. Он думал, что надобно жить здесь, в этой суровой, но милой России. От Зверя, угнездившегося в городах, надобно уйти в широкие просторы русских долин, в бедный быт русской деревни, быт бедный, темный, но подлинный, верный быт трудящегося мира. Надобно окунуться в эту величайшую из всех стихий, в стихию простонародной жизни, в тот мир, где мать сырая земля неистощимо рождает все новые и новые силы, наперекор неистовству жестокой жизни.

Он вспомнил все то грубое и жестокое, что совершалось в деревне. Вспомнил разгром своей усадьбы крестьянами, теми самыми смиренными и рабочими людьми, среди которых он провел свое детство, с которым он узнал, что его сверстники, товарищи его деревенских игр, Василий Менятов и Илья Цыганков, были вожаками громил, разрушивших и сжегших тот дом, в котором он родился. И ему вдруг опять стало страшно. С холодным отчаянием подумал он:

"Куда же идти?"

И ответил сам себе:

"Все-таки надобно идти к ним, на родную землю, к родному народу, и разделить его

Звериный быт. Фёдор Сологуб sologubfyodor.ru  
судьбу, какова бы она ни была".

Гриша весело говорил что-то, – Алексей Григорьевич едва слушал его, едва ему отвечал. И наконец Гриша замолчал. Задумался о чем-то своем.

Когда на повороте улицы санки раскатились и Гриша схватился рукой за его рукав, схватился почти бессознательно, продолжая додумывать свои думы, Алексей Григорьевич взглянул на него сбоку, опять задумчивость, легшая на раскрасневшееся Гришине лицо, сделала его так радостно и так трогательно похожим на бледное Шурочкино лицо.

Сердце Алексея Григорьевича дрогнуло. И снова в душе его поднялась тоска.

XXIX

Уже было на улицах совсем темно, когда Алексей Григорьевич позвонил в квартиру Татьяны Павловны. Горничная в белом переднике, веселая молоденькая девушка с блудливыми серыми глазами, с неярким, городским цветом лица, скоро открыла ему дверь и, не дожидаясь его вопроса, сказала:

– Барыня дома, пожалуйста.

Показалось ли только так Алексею Григорьевичу, или сегодня он особенно отчетливо подмечал все, чем сказывается в людях и в предметах печаль, только его удивило, что в серых Катиных глазах блестят слезинки. Он подумал:

"Мать больна, денег просит или барыня недовольна".

Ему казалось, что Катя стаскивает с него пальто не так ловко, как всегда. Он вошел в гостиную, где никого не было. Катя осветила комнату светом трех лампочек средней люстры и быстро ушла.

Алексей Григорьевич сел в кресло у стола. Повертел в руках альбом. Опять встал. Прошелся несколько раз по комнате. Томившее его беспокойство все возрастало.

Не зная сам, зачем он это делает, он взялся за ручку запертой двери, вошел в соседнюю темную комнату и не спеша подвигался вперед. Он даже не думал о том, что идет по комнатам чужой квартиры. Темнота успокаивала его, и он шел из комнаты в комнату.

Вдруг он увидел свет. Услышал голоса. Остановился. Хотел было повернуть назад, но стоял в странной нерешительности.

Слышалось два голоса, – тихий Катин голос и сдержанно-сердитый голос Татьяны Павловны. Казалось, что Татьяна Павловна за что-то бранит Катю. Потом она заговорила погромче, и Алексей Григорьевич услышал ее слова:

– Который раз я вам говорила, Катя. Никакого терпения нет. Если вы не хотите служить, так уберите вон сейчас же.

Что-то отвечала Катя, очень тихо, но, судя по звуку ее голоса, что-то дерзкое. И тогда Татьяна Павловна, вдруг забывши, что в квартире есть гость и что надобно сдерживаться, звонко крикнула злым голосом:

– Как ты смеешь, дерзкая девчонка! Вот тебе! Вот тебе! И вместе с этими словами послышались резкие звуки двух звонких пощечин и тихие вскрикивания Кати:

–Ах! Ах!

Алексей Григорьевич стоял, охваченный негодованием и страхом. Ему казалось, что этого не может быть, что это – какая-то ошибка. Может быть, кто-нибудь другой, экономка, что ли, стоит там и бьет по щекам девушку.

Он тихо сделал два шага вперед. Перед ним в зеркале, стоявшем над нарядным туалетом, отразилось в полуобороте сильно покрасневшее, сердитое лицо Татьяны Павловны и испуганное лицо плачущей Кати. Лицо Татьяны Павловны покраснело пятнами, углы рта неприятно опустились, и она казалась грубой и вульгарной.

Катины щеки ярко пылали. Она стояла прямо, опустив руки, не вытирая быстрых слез, и говорила тихо:

- Барыня, простите, я больше не буду.

И опять поднялась красивая, белая рука Татьяны Павловны, и так спокойно и ловко, словно совершая привычное движение, звонко опустилась на покорно подставленную Катину щеку. И в то же время Татьяна Павловна кричала, уже не сдерживая голоса, грубым тоном рассерженной женщины:

- Не смей дерзить, негодная девчонка! Вот тебе за это еще! В благоуханном воздухе комнаты, нежно розовея в мягком озарении лампочек, прикрытых розовыми колпачками, мелькнула другая рука Татьяны Павловны, и четвертая пощечина раздалась как будто бы еще звонче первых трех. Катя громко зарыдала, быстро опустилась на колени и жалобным, похожим на детский, голосом говорила:

- Барыня, миленькая, больше не буду. Никогда больше не буду.

Татьяна Павловна отвернулась от нее.

Алексей Григорьевич поспешно пошел прочь. В полутьме неосвещенных комнат он задел за что-то, - послышался грохот сдвинутого с места стула. Татьяна Павловна, выглянув из двери, дрогнувшим от волнения голосом спросила:

- Кто там?

Алексей Григорьевич, не отвечая, вернулся в гостиную.

XXX

"Что же это? - думал Алексей Григорьевич. - Как может нежное сердце женщины распалиться такой злостью? Как может прекрасная рука очаровательной дамы с такой удивительной ловкостью и с такой силой опускаться на щеки перепуганной служанки? Что же это, - случайная вспышка, несчастный случай, один из тех, которые могут случиться со всяким? Или то, что делается не раз?"

"А эта глупая девчонка, которую бьют, зачем же она терпит? Зачем она сама подставляет под удары госпожи свои бледные щеки? Зачем, как рабыня, бросается к ногам обидевшей ее женщины? По привычке с детства? Или от испуга, потому что натворила что-нибудь очень скверное? Или, может быть, уже знает по опыту, что вспыльчивая барыня потом вознаградит ее за эти пощечины каким-нибудь подарком, - старым платьем, или ленточкой, или мало ли еще чем?"

Потом, вдумываясь в то, что он теперь чувствует, Алексей Григорьевич с удивлением заметил, что нет в его душе ни сильного гнева, ни яркого негодования. Скорее страх какой-то, какое-то холодное равнодушие.

Алексей Григорьевич закрыл глаза, стараясь вызвать прежний милый образ Татьяны Павловны, веселой, любезной женщины со смеющимися глазами. И это ему удалось. Он опять почувствовал в своем сердце нежную жалость к ней, к этой запутавшейся в лукавых сетях Зверя, но все-таки, конечно, милой, доброй женщины. Захотелось обойтись с ней, как с провинившимся ребенком, заставить ее застыдиться, покраснеть, раскаяться, - захотелось по-отцовски побранить, простить, увезти ее отсюда, перенести в иную жизнь, простую, здоровую, братскую, где люди не обижают друг друга.

Ведь все то, что говорила ему Татьяна Павловна, всегда казалось ему таким близким его душе. Разве не одинаково думают о жизни они оба? Разве не одинаково обоим им противен лютый Зверь, жестокий властелин города? И разве случайные победы его над нашим сердцем не должны равно печалить их обоих?

XXXI

Послышались за дверью легкие, быстрые шаги. Дверь бесшумно открылась, вошла Татьяна Павловна. Алексей Григорьевич почувствовал, что он взволнован. Он пошел к ней навстречу.

Весело улыбаясь, она протянула ему руку, - и ни в лице ее, ни в звуке ее

Звериный быт. Фёдор Сологуб sologubfyodor.ru  
любезного приветя, ни в ее уверенных движениях ничто не напоминало той сварливой бабы, растрепанной, красной, которая свирепо била по щекам свою служанку.

Алексей Григорьевич молча пожал ее руку. Не поднес ее к губам для поцелуя, как делал это всегда, следуя приятному светскому обычаю.

Татьяна Павловна всмотрелась в его лицо. Как будто бы смутилась слегка. Слегка прикрыла веки. Спросила участливым тоном, – и в звуке ее голоса Алексею Григорьевичу послышалось притворство:

– Как поживаете, Алексей Григорьевич? Что у вас дома? Все благополучно? Гриша, надеюсь, здоров? Вы как будто бы чем-то озабочены.

Алексей Григорьевич слегка сдвинул брови, строго посмотрел в ее глаза и сказал:

– Татьяна Павловна, извините меня. Ожидая вас, я увлекся здесь моими размышлениями, довольно невеселыми, и, по моей привычке ходить по комнатам, обдумывая что-нибудь, прошелся по вашей квартире. Этого мне не следовало делать, но я это зачем-то сделал и был жестоко наказан за свою неосторожность.

Татьяна Павловна стояла перед ним, опустив глаза. Досадливая гримаска мелькнула было на ее губах, но быстро исчезла. Краска стыда заливала ее нежные щеки, и красивые маленькие уши ее под завитками темных волос краснели. Алексей Григорьевич продолжал:

– Я увидел, как вы наказывали за что-то вашу Катю. Слишком патриархально.

Голос его дрогнул, и он сказал быстро, чувствуя в себе все возрастающий гнев:

– Вы били ее по щекам. Признаюсь, я не ожидал, что вы умеете делать это. Скажу откровенно, что хотя самое действие и казалось мне отвратительным, но я готов был аплодировать виртуозности исполнения.

Татьяна Павловна сказала в замешательстве:

– О, какой вы злой! Если бы вы знали, какая это дерзкая девчонка! С ней иначе нельзя. Она очень склонна забываться.

– Зачем же вы ее держите? – спросил Алексей Григорьевич.

– Но я к ней привыкла, – отвечала Татьяна Павловна. – Хорошую горничную нынче так трудно найти. И она все знает, где что у меня лежит, и все адреса знает. Она расторопная, услужливая, очень честная, и я ею, в общем, очень довольна и дорожу ею. Только иногда на нее вдруг находит желание говорить мне дерзости.

– И тогда вы ее бьете? – спросил Алексей Григорьевич. Татьяна Павловна в замешательстве посмотрела на него, смущенно развела руками и сказала:

– Ну, я ее словами унимаю. Конечно, иногда она уж очень рассердит. Вы, кажется, думаете, что я – ужасно злая и что я только и делаю, что ее бью. Неужели вы меня так плохо знаете! Поверьте, она сама сознает, что заслужила это. Она меня любит. Ведь кто же бы ее держал здесь насильно? Она у меня уже пятый год. Она дорожит этим местом.

Алексей Григорьевич молча слушал все эти оправдания. Его молчание все более смущало Татьяну Павловну. Наконец Алексей Григорьевич увидел, как из уголка ее глаза медленная, маленькая выкатилась слезинка. Ему стало жалко эту застыдившуюся до слез даму, и он сказал:

– Никогда больше не делайте этого.

Татьяна Павловна наклонила голову и тихо сказала:

– Хорошо, я больше не буду.

– А теперь, – продолжал Алексей Григорьевич, – позовите Катю, приласкайте ее и извинитесь перед ней.

Татьяна Павловна быстро глянула на Алексея Григорьевича. Ее взгляд исподлобья был похож на сердитый, пристыженный взгляд попавшегося в шалости ребенка. Потом она опять опустила глаза, легонько пожала плечами и сказала:

- Алексей Григорьевич, это ее только поощрит на новые дерзости.

Алексей Григорьевич сказал настойчивым тоном:

- Татьяна Павловна, не огорчайте меня слишком, не заставляйте меня думать о вас так дурно, как вы этого не заслуживаете. Не кажитесь хуже, чем вы есть. Вы - добрая, милая, такие выходки вам не к лицу. Сделайте так, чтобы я мог с легким сердцем поцеловать вашу нежную руку. Татьяна Павловна нахмурила брови. Опять пожала плечами, подумала минутку, потом вдруг ярко покраснела, и видно было, что краска румянца разлилась по ее шее и по плечам. Она быстро, неловкой походкой пристыженной школьницы подошла к столу и нажала белую пуговку электрического звонка.

XXXII

Через минуту вошла Катя. Алексей Григорьевич пристально посмотрел на нее.

Катя остановилась у дверей. По лицу ее почти совсем не было заметно, что ее только что побили. Губы ее улыбались сдержанно, глаза были веселы и блудливы. Только щеки все еще были очень красны. Но вся ее наружность говорила о том, что она довольна своим положением, что она охотно готова исполнить то, что ей сейчас прикажут. Катя стояла в скромной, почтительной позе, опустив руки, глядела прямо на Татьяну Павловну и ждала.

Алексей Григорьевич перевел глаза на Татьяну Павловну. Лицо ее все еще пылало, глаза были опущены, правая рука беспокойно раскрывала и закрывала альбом на столе, у которого она стояла. Видно было, что ей очень стыдно и что она не знает, как начать.

Прошла минута неловкого молчания. Катя как будто догадалась о чем-то. Глаза ее с любопытством перебегали с Татьяны Павловны на Алексея Григорьевича. Видно было, что ей хочется смеяться.

Наконец Татьяна Павловна сказала смущенно:

- Катя, Алексей Григорьевич недоволен тем, что я вас поколотила. Правда, я слишком погорячилась. Вы меня уж очень рассердили. Извините меня. Катя.

Перебивая ее, быстро заговорила Катя:

- Что вы, барыня! Да разве я жалуясь на вас! Я вами очень даже довольна. А что вы погорячились, так я сама этому виновата. Разве можно говорить господам дерзости! Ведь это - не свой брат.

- Извините меня. Катя, - повторила Татьяна Павловна. - Я вас вперед не буду бить, а вы не должны говорить дерзостей. Постарайтесь, чтобы с вашей стороны это было в последний раз.

Катя с веселой улыбкой говорила:

- Да право же, барыня, я не обижаюсь. Мало ли что бывает! Нашему брату на все обижаться не приходится.

- Подойдите ко мне, Катя, - сказала Татьяна Павловна.

Катя подошла и остановилась перед Татьяной Павловной. Татьяна Павловна неловко и нерешительно подняла руку. Катя вздрогнула, я слегка отстранилась. Но потом вдруг она сообразила, что рука поднимается, конечно, не для удара. Она весело засмеялась, потянулась лицом к Татьяне Павловне и подставила ей щеку.

Татьяна Павловна ласково погладила подставленную щеку. Потом она взяла Катю за подбородок и нежно поцеловала ее в щеку, в губы, в другую щеку. Тогда Катя быстро опустила на колени, схватила обе руки Татьяны Павловны и поцеловала сначала одну, потом другую. Сказала:



- Простите меня, барыня, много довольна вашей лаской.

XXXIII

Когда Катя ушла, Татьяна Павловна села на диван и, поглаживая раскрасневшиеся щеки тонкими, стройными пальцами, сказала:

- Видите, какая трогательная сцена! Вот видите, она и не думала обижаться.

Но все-таки у нее был вид наказанной девочки. Алексей Григорьевич промолчал. Татьяна Павловна опасливо посмотрела на него и заговорила о другом.

Алексей Григорьевич спросил:

- Вы давно знакомы с моим родственником, Дмитрием Николаевичем Нерадовым?

- Да, приходилось встречаться, - равнодушно ответила Татьяна Павловна. - Он иногда бывает у моей тетушки Неделинской.

Ее спокойный тон совершенно рассеял опасения Алексея Григорьевича.

Но все-таки разговор их кончился сегодня как-то неприятно. Алексей Григорьевич заговорил о том, что он хочет уйти от города, уйти от этой лживой жизни, слиться с народом. Татьяна Павловна слушала его с каким-то неопределенным выражением на лице.

- А вы, Татьяна Павловна, пойдете ли за мною? - спросил он, опять чувствуя в себе неожиданное волнение.

Татьяна Павловна с принужденным видом улыбнулась и сказала:

- Я пойду за вами всюду, куда вы захотите меня повести, но я буду отчаянно скучать без города, должна сказать вам это откровенно. Да и вы тоже скоро захотите вернуться.

Алексей Григорьевич живо и уверенно сказал:

- Никогда!

- Не ручайтесь за себя, - сказала Татьяна Павловна, усмехаясь. Знаете, мы, городские жители, как привычные пьяницы, так втягиваемся в городскую жизнь, что уже иначе не можем жить. Как русалку нельзя вытащить на берег, задохнется, - так и мы с вами там, в этой темной глуши, жить не сможем. Да и делать нам там нечего.

Алексей Григорьевич не спорил. Ему стало грустно. Он хотел было рассказать ей о сегодняшнем разговоре с Кундик-Разноходским, - но почувствовал, что еще не может говорить ни с кем об этом. Решил рассказать когда-нибудь после.

XXXIV

Когда Алексей Григорьевич вечером вернулся домой вместе с Гришей, Елены Сергеевны уже не было. Серафима Андреевна, пожилая экономка, степенная вдова курьера, встретила его в передней. У нее было озабоченное, расстроенное лицо. Она говорила растерянно, поглядывая на Гришу:

- Елена-то Сергеевна наша расхворалась совсем, к маменьке уехала.

Алексей Григорьевич понял, что она что-то хочет рассказать ему. До обеда оставалось еще минут пятнадцать. Он сказал:

- Ты, Гриша, переоденься к обеду и займись пока чем-нибудь. А мне надобно с Серафимой Андреевной поговорить.

Когда они вдвоем вошли в кабинет, Серафима Андреевна испуганно заговорила:

- Что тут у нас делается, просто и ума не приложу.

- Садитесь, Серафима Андреевна, - сказал Алексей Григорьевич, - и рассказывайте. Уж я знаю, что хорошего ждать надобно мало.

Экономка рассказывала:

- Только что вы с Гришенькой уехали, слышу я, Елена Сергеевна разливается, плачет. Я к ней, - что, говорю, такое, что с вами? А Елена Сергеевна, вижу, вне себя, говорит совсем несообразные слова, - я, говорит, таких дел тут наделала, что не знаю, говорит, что мне за это и будет. Только, говорит, я ни в чем не виновата, а виноват во всем Дмитрий Николаевич, а быть мне здесь, говорит, больше никак нельзя. Живо-живехонько собралась, чемоданишко свой укладывает, говорит мне, - давайте мне паспорт, я сейчас съезжаю от вас к своей маменьке. Я не знаю, что и делать, что говорить, только думаю себе, как же это я ее без вас отпущу, - потом, может быть, чего недосчитаемся, кто будет в ответе. Говорю ей, - нет, Елена Сергеевна, говорю, вы меня извините, а только без Алексея Григорьевича я ни паспорта вашего, ни вещей из квартиры выпустить не могу. А она мне довольно спокойно говорит, - да вы, говорит, не бойтесь, я ничего здесь не украла, а только жить здесь мне нельзя ни одной секунды. Я, говорит, уйду, а вещи и паспорт вы мне пришлите, я у своей маменьки буду. Уж я не знаю, как и быть, и отпустить-то ее боюсь, да и задержать не смею. Стараюсь ее словами разговорить всячески, но она никакого внимания не обращает, живо-живехонько оделась и побежала, - только каблучки по ступенькам зацокали. Только этому делу минут пять прошло, еще я и очухаться не успела, как вдруг новое происшествие, - заявляется Дмитрий Николаевич. А у меня сердце не на месте, ноги подкашиваются, успокоиться не могу, хожу по комнатам дура душой, в окошки поглядываю. Вижу, Дмитрий Николаевич подъезжает, я сама в прихожую выхожу, Наташе строго-настрого приказала, - что ты, мол, Наташа, не суйся, язык за зубами держи, что тут было, ни о чем ни гугу. Вошли, пальто negligje скинули, - дома? - спрашивают. Говорю, - только что уехали. - А Гриша, говорят, дома? Вот, говорят, я ему конфет привез, каштанов, знаю, говорят, что он до них большой охотник, пусть полакомится. Спрашивают про Елену Сергеевну, и тут я, уж не знаю с чего, возьми и проболтайся. Что-то, говорю, неладно с Еленой Сергеевной, - да и давай им все по порядку выкладывать. А Дмитрий Николаевич, нижу, в лице переменялись, ворчат сквозь зубы: - Экая дурица! - Тут мне как в голову ударило, что Елена-то Сергеевна про них что-то говорила, что они будто в чем-то виноваты. Ну, думаю, помолчать бы мне до Алексея Григорьевича. А они к дверям и конфеты с собой забирают, а то было их поставили на столик подзеркальный. Я им говорю, - да вы, Дмитрий Николаевич, говорю, коробочку-то оставьте, я передам Гришеньке. Нет, говорят, я сам вечером занесу. И скоро-скорехонько пошли вон, как будто рассердившись на что-то, и так каштанов и не захотели оставить. Батюшка Алексей Григорьевич, что я, напутала тут что или что такое?

- Все хорошо обошлось, Серафима Андреевна, - сказал Алексей Григорьевич, - а чуть было очень плохо не вышло. А вся беда в том, что у Гриши денег много. Дело-то вот в чем...

В это время раздался стук в дверь, и вошла Наташа с письмом. Сказала:

- Посыльный подал, от Елены Сергеевны.

Алексей Григорьевич торопливо разрезал конверт и прочел:

"Милостивый Государь Алексей Григорьевич!

После нашего разговора с Вами, и узнав, что Вы Бог знает в чем подозреваете меня, я, конечно, не могу оставаться в Вашем доме. Я переехала к моей маменьке. Мои вещи и паспорт прошу мне прислать, если можете, сегодня, а также и мое жалованье за последний месяц. Грише от души желаю всего наилучшего, и больше всего, чтобы он получил поскорее вторую мать и с ней теплую женскую ласку, которой ему не хватает в Вашем доме и которую ему может дать только Ваша супруга, а не наемная гувернантка, хотя бы и такая усердная и послушная Вам, как я была.

Готовая к услугам Елена Кирпичевская".

Внизу был приписан адрес.

Звериный быт. Фёдор Сологуб [sologubfyodor.ru](http://sologubfyodor.ru)

Алексей Григорьевич понял, что она виделась уже с Дмитрием Николаевичем. Вернее всего, что и письмо написано под его диктовку.

Алексей Григорьевич брезгливо швырнул письмо на стол. Глупые слова о второй матери, – конечно, подразумевалась Татьяна Павловна, – показались ему кощунственными. Как смеет эта низкая обманщица говорить об этой очаровательной женщине!

XXXV

На другой день Кундик-Разноходский опять сидел у Алексея, Григорьевича. Прежде всего спросил:

– Могу я узнать, оправдалось ли мое вчерашнее предсказание насчет коробки конфет?

Алексей Григорьевич сказал:

– К сожалению, оправдалось. И даже раньше, чем вы говорили. Коробку принесли днем.

Кундик-Разноходский, хихикая, сказал:

– Поторопились. И так, глубокоуважаемый Алексей Григорьевич, вы сами изволите видеть, что мои сведения основательны. Документам я принес и нахожусь в приятном ожидании получения денег.

Алексей Григорьевич достал из письменного стола приготовленные деньги и отдал их Кундик-Разноходскому. Тот пересчитал деньги с большим удовольствием. Потом вынул из бокового кармана перевязанную красной ленточкой пачку писем. Алексей Григорьевич взял письма, развязал алую ленточку, взглянул на первое письмо, – и сердце его упало.

Знакомый почерк. Почерк Татьяны Павловны. Даты недавние, – этот год, прошлый. Слова нежные. Письма написаны какому-то диме. И между ними одно письма мужским почерком, – и этот почерк знаком, – почерк Дмитрия Николаевича.

Прочел в одном из ее писем три только строчки:

"Дурак влюблен в меня без памяти. Его пресные рассуждения надоели мне до чертиков".

Больше не стал читать. Понял всю махинацию.

"Бежать, бежать за океаны или за горы!" – думал он.

Спасибо, что скачали книгу в бесплатной электронной библиотеке

<http://sologubfyodor.ru/> Приятного чтения!

<http://buckshee.petimer.ru/> форум Бакши buckshee. Спорт, авто, финансы, недвижимость. Здоровый образ жизни.

<http://petimer.ru/> Интернет магазин, сайт Интернет магазин одежды Интернет магазин обуви Интернет магазин

<http://worksites.ru/> Разработка интернет магазинов. Создание корпоративных сайтов. Интеграция, Хостинг.

<http://filosoff.org/> философия, философы мира, философские течения. Биография

<http://dostoevskiyfyodor.ru/>

сайт <http://petimer.com/> Приятного чтения!